

БОРИС ПОЛЯКОВ

КОЛА



Борис Викторович Поляков

Кола

текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=69409255
ISBN 978-5-6049167-9-7

Аннотация

На верхушке Европы, самом северном ее крае, в том месте, где, образуя песчаный намыв, сливаются под горою две реки: широкая и величественная Тулома и усыпанная валунами Кола, с незапамятных времен селились люди, которых из многих земель Руси-России гнала безысходная нужда в необжитые, глухие места. Жили безбедно, тихо, нередко трудно. Но всегда оставляли в наследство детям любовь к независимости и ненависть к притеснителям. И теперь уже никто не помнит, почему им больше пришлось по нраву веселая речка Кола, но постепенно все стало связано с ее именем: селение назвали Кола, залив стал Кольский, а земля, что была вокруг, – Кольский полуостров. Здесь, на краю земли русской жители Колы промышляли рыбу, вели домашнее хозяйство и крепко стояли за свои дома, сопки и горы, за все государство Российское.

Содержание

От автора	6
Часть первая	13
1	13
2	18
3	24
4	28
5	30
6	39
7	42
8	45
9	52
10	58
11	60
12	63
13	66
14	69
15	75
16	77
17	82
18	86
19	100
20	102
21	105

22	107
23	117
24	119
25	124
26	131
27	134
28	137
29	143
30	149
31	154
32	169
33	174
34	176
35	185
36	209
37	212
38	218
Конец ознакомительного фрагмента.	236

Борис Поляков

Кола

© ИП Воробьёв В.А.

© ООО ИД «СОЮЗ»

* * *

*ЕЖЕЛИ И ДЫМ ОТЕЧЕСТВА ЛЮБЕЗЕН
КАЖДОМУ БЫТЬ ДОЛЖЕН,
ТО КОЛЬМИ ПАЧЕ ПАМЯТЬ ПРЕДКОВ СВОИХ,
ДАЛЕКО ВРЕМЕНЕМ ПРЕДВАРИВШИХ НАС,
ДОЛЖНА БЫТЬ ДРАГОЦЕННА:
ИСТОРИЯ ЖИЗНИ ИХ ЕСТЬ УЧИЛИЩЕ,
А ДЕЯНИЯ ПОХВАЛЬНЫЕ СУТЬ ЗЕРКАЛО,
В КОЕ СМОТРЕТЬСЯ НАМ ДОЛЖНО ЧАЩЕ И
ЧАЩЕ...
(ИЗ СТАРОЙ КНИГИ)*

От автора

На вершущке Европы, самом северном ее крае, омывает Баренцево море неприветливые с виду мурманские берега – Кольский полуостров. Мурман Западный и Восточный разделяет Кольский залив. Он идет далеко в глубь полуострова и в стужу не замерзает, как прочие воды суши. А в самый конец залива впадают две реки: широкая и величественная Тулома и усыпанная валунами говорливая Кола.

В том месте, где, образуя песчаный намыв, сливаются под горою Соловарака Тулома и Кола, с незапамятных времен поселились люди, которых из многих земель Руси-России гнала безысходная нужда в необжитые, глухие места. Шли сюда непокорные и обездоленные, спасая себя от кнута и палки, стремясь сохранить ноздри и уши, убереечь лоб от клейма, голову от плахи. Шли от великих князей подальше и устраивались в этом суровом краю обстоятельно, навсегда. Жили безбедно, тихо, нередко трудно. Но всегда оставляли в наследство детям любовь к независимости и ненависть к притеснителям.

И теперь уж никто не помнит, почему им больше пришлось по нраву веселая речка Кола, но постепенно все стало связано с ее именем: селение назвали Кола, залив стал Кольский, а земля, что была вокруг, – Кольский полуостров.

Редкими, скупыми документами пришла из глубин веков

к нам история города Колы. И даже сегодня трудно сказать, когда здесь возникло первое поселение. Известно только, что в 1532 году на мысу при слиянии двух рек стояла церковь, а в 1565 году поморская деревенька Кола упоминается и в документах.

На Руси в то время Иван Грозный взял титул царя. Россия крепла. Устраняя восточную угрозу, завершила покорение Казани, присоединила Астрахань и, нуждаясь в торговле с Европой, искала выхода в море.

Англия и Франция, Испания и Голландия были не прочь торговать с Россией, но Ливонский орден, Швеция и Речь Посполита лишали Москву сообщения с Европой.

В эти же годы англичане искали путь в Индию и Китай через северные моря, а нашли удобные морские ворота России: заброшенную на край земли русскую Колу. Так, не заходя на Балтику, Европа стала торговать с Россией. С этих пор и начинается рост Колы как города торгового, на Севере равных себе не знающего.

Удобно стояла Кола. Удаленная в глубь полуострова, имела свободный выход в океан. Расположенная на мысу при слиянии двух рек, была надежно защищена от набегов воинственных соседей.

Кола никогда не знала крепостного права, не испытывала помещичьего произвола. Коляне занимались лесным и морским промыслом, самостоятельно вели торговлю. В складчину строили промысловые суда и ходили на Белое море, к

Новой Земле и Шпицбергену бить тюленей и нерп. На паях ловили зубатку, треску и палтус, а в реках – королевскую рыбу семгу. А где водилась она – добывали жемчуг: нежно-розовый, иссиня-черный, темно-серый. Нередко били в Кольском заливе китов и топили из них сало, и даже бывали случаи, когда скелет кита отправляли в Петербург на всеобщее обозрение и удивление подданных царя и его гостей иноземных.

Но не только океан кормил поморов. На Кольской земле водились дикий олень и лось, медведь и бобер, выдра и куница, лисица и россомаха, белка и горностай. Знай не ленись.

А Кола была городом тружеников. И колянки не отставали в работе от мужей-поморов: пряли лен и пеньку, вязали невода и сети, вили веревки из соснового корня, шили из оленьих шкур теплые одежды. В скудную землю на огородах сажали репу и капусту, в верховьях Туломы косили сено.

Были среди колян и состоятельные. На своих лодьях и шхунах ходили они в Норвегию, продавали, меняли, покупали, везли товары заморские в Колу, Холмогоры, Великий Устюг и Вологду.

А в самый разгар лета, к петрову дню, съезжались на ярмарку в Колу купцы многих земель. Французы, норвежцы и англичане, голландцы и датчане ставили торговые шатры в городе, дивились незаходящему солнцу и, хмелея от барышей, на разных языках предлагали колокола, порох и снасти, парчу, сукна и бархат, вина, зеркала и посуду, бумагу и се-

ребряные украшения.

Русские купцы привозили в Колу муку, крупу, зерно и солонину, смолу, пеньку, коровье и льняное масло, кожи, мед, холсты и воск.

Не оставались в стороне и коляне. Покупали товары заморские и сами продавали в большом количестве шкуры и сало морского зверя, треску и палтус, жир тресковой печени для лечения недугов и худосочий жемчуг на церковные облачения.

Пестрой, праздничной была в эти дни Кола. Шумными ватагами ходили чужеземные моряки по городу, заигрывали с красивыми колянками, пили в государевой кабацкой избе, оставляли золотые целовальнику.

А в гостином дворе сидели хозяева товаров. Любезные и обходительные, хитрые и осторожные, объедались бобровым мясом копченым, оленьими языками и медвежатиной, пили ром заграничный и мед русский, пьяно хлопали по рукам, торговались и выгадывали, договаривались о ценах сегодняшних и о товарах на будущее.

Однако соседним феодалам не по нутру было укрепление русских владений на Севере. Не нравилась им торговля России с Западом. Враждебно смотрели они на Колу.

В конце 1589 года шведы и финны, после того как сожгли все постройки Печенгского монастыря, а живших там всех убили, пришли и под Колу. Опьяненные легким успехом в Печенге, лезли с огнем и мечом к городу. Коляне укрылись

за стенами острога, стояли насмерть. Взяли в долг у датских купцов четыре пушки с ядрами да четыре больших пищали с припасами и не только разгромили врагов, но и захватили много пленных вместе с их воеводою.

Славно праздновали коляне победу: на три года царь освободил их от податей, торговых пошлин и несения повинностей. Повелел уплатить датчанам за пушки из казны государевой.

Но шведы на этом не успокоились. С большим войском пришли на следующий год к Коле. Привезли осадные сооружения, с их помощью близко подошли к стенам крепости, сумели поджечь две угловые башни. Долгий полярный день и всю ночь бились коляне. Трусами врагов были усеяны крепостные рвы. Шведы не выдержали отпора, дрогнули, отошли на остров по Туломе, что зовется до сих пор Немецким, простояли там три дня, в злобе глядя на город, и ушли бесславно восвояси.

Датский король пошел по другому пути: он предложил Борису Годунову продать Кольский полуостров за пятьдесят тысяч талеров. Гордо звучал ответ Христиану IV, переданный русскими послами: «Хотя и много у русского царя земель, но собственности он своей не уступит, если даже король предложит сумму в пять раз большую». Тогда в 1599 году Христиан IV на восьми кораблях лично явился в Колу. Он устраивал сходы и выступал с речами, призывал колян принести присягу ему на верность. Обещал за это особые

льготы и милости. Коляне глаза опускали, тая улыбки, разводили руками, поясняли степенно, что они люди русские, православной веры. Смеялись после над королевской затеей приближенные Годунова, а царь велел заново перестроить Кольскую крепость, усилить ее военными людьми и пушками.

В конце зимы 1611 года с новым войском пришли под Колу шведы. Обложили крепость со всех сторон, на глазах у колян строили башни для штурма, готовились к взятию города. Колянам неоткуда было ждать помощи. Под прикрытием артиллерии и штурмовых сооружений ожесточенно лезли на штурм шведы. Они даже ворвались внутрь городских укреплений. Но и на этот раз коляне мужественно защищали свою землю и выбили врага за городские ворота.

Не успокоился и Христиан IV. Его военная эскадра не однажды появлялась у берегов Мурмана. Датчане грабили рыбацкие и купеческие суда, отбирали товары, деньги, рыбу и снасти. Что не могли взять с собой – жгли и топили в море.

Шло время. Рос теснее связанный с Москвой Архангельск. Постепенно он отобрал у Колы ее главную роль в торговле с иностранцами. И опять коляне зажили тихо и незаметно: ловили рыбу, били морского и лесного зверя.

Надвигалась Северная война. Выполняя строгий царский наказ: «Чтоб в том городе в военный случай в осаде надежно сидеть было», – коляне заново соорудили сторожевые башни, перестроили стены города, вооружились. Теперь Ко-

ла имела пятисотенный гарнизон, тридцать пять больших и двадцать малых пушек и запас провианта на три года.

Прошли еще годы. На Балтике красовалась новая столица. В стороне от больших дорог осталась Кола. Стрелецкий полк давно уж преобразовали в солдатскую часть, а затем и вовсе сократили. Воеводу заменил комендант, а потом городничий. По указу Павла I сняты были с крепости и свезены в Соловецкий монастырь пушки... Тихо стало на Мурмане.

Но помнили об этом крае правители других стран.

Летом 1809 года несколько английских крейсеров пиратски хозяйничали у мурманских берегов: разоряли рыбацкие становища, обирали поморов, занимались каперством. На гребных судах они направили десант в Колу. Мужское население города было на промысле. В страхе бежали из города старики, женщины, дети. Англичане разграбили покинутые дома, магазины, амбары, погрузили награбленное и ушли к своим кораблям.

В 1853 году началась Крымская война...

Часть первая

1

В Архангельске, когда их привели в порт, хозяин судна взял поданную конвоиром подорожную, развернул ее, отодвинул от глаз, читал гнусаво, с растягом. После переспросил:

– В Колу, говоришь?

Неторопливо спрятал бумагу, осмотрел тех двоих, что стояли под конвоем, их старые портки и лапти, тощие котомки. Глаза из-под медных очков цепкие. Кивнул в сторону артельных, что носили мешки с мукой на шхуну, сказал конвоирам:

– Пусть помогают. Отблагодарю...

Смольков взмолился, пытался объяснить, что не может, но конвоиры, желая получить на водку, усердствовали:

– Давай-давай, впрягайся!.. – подталкивали ссыльных к артельным.

– Нехристи, как есть нехристи, – плакался Смольков. – Ведь знаете, каково нам мешки-то. Нехристи, будь вы неладны...

Андрей молча принял на спину мешок, качнулся от боли и медленно пошел к сходням.

Он не видел, как под тяжестью другого мешка упал Смольков, не слышал, как ругались хозяин и конвоиры, как собиралась толпа. Стиснув зубы он шел по трапу, сгибаясь под тяжестью будто раскаленной ноши, думал: «Ничего, выдержу...»

В трюме опустил осторожно мешок на штабель, тяжело распрямылся. Под прилипшей рубахой горела болью спина. В глазах плыло кругами. Придерживаясь за поручни, вышел на палубу и вдохнул трудно, медленно, полной грудью.

Внизу не работали.

Хозяин, матросы, конвой стояли вокруг сидевшего на земле Смолькова.

– При моем здоровье пятьдесят палок выдержал, – жаловался он. – А ему что, он молодой...

Андрея окликнули, и толпа повернулась, разглядывала его.

– А ну покажись! – приказал хозяин.

Он стал поднимать прилипшую рубаху, и Андрей замер, весь напряжись, сжал зубы от нестерпимой боли, словно ему клещами сдирали со спины кожу, заворачивая ее снизу вверх.

Потом хозяин присвистнул, и в наступившей тишине кто-то набожный выдохнул:

– Свят, свят, свят... Избавь мя господи от грехов.

И кто-то степенно рассудил:

– От грехов – ничего. От шпицрутенов избавь – это верно.

– За что же вас так, сердешных?

Хозяина будто стегнули:

– Каркай, воронье, лишь бы не работать! Што, пошто – не твоего ума! – И, распалая себя, сорвался на крик: – Расходись работать! – Подтолкнул близстоящего. – Шевелись!

– Дак ведь, Кузьма Платоныч...

– Я те покажу Кузьма Платоныч! Начну кроить плетью – скажешь, како место чешется. Ишь диковину увидали – сеченых!

Он шумел, грозился, и толпа расходилась, таяла.

Работники снова по сходням забежали, и хозяин смягчился, сменил тон.

– Давай-давай, шевелись получше – поешь погуще, – подбадривал Кузьма Платоныч. – Закончите раньше – на водку пожалую.

Конвоир вспомнил обещанное, не утерпел, тронул хозяйина за рукав:

– Нам-то что, Кузьма Платоныч?

– А, якорь тебя, откуда вы только взялись! Шиморин, – обернулся хозяин и позвал громко, – следи за погрузкой, я к себе пошел! Да не опускай, не опускай рубаху-то, – добавил Андрею. – Идите оба за мной.

В каюте он долго тряс темную бутылку, потом из нее чем-то холодным и липким мазал спину Андрею и приговаривал:

– Надо бы сказать: не можем-де мы работать, сеченые, мол. И мы не татары какие, имеем сочувствие... Сам-то

кольский будешь?

– Не-ет, почему кольский? – отозвался Андрей.

– По обличью. Породистый ты, как колянин. Вон какой ладный. Добротню тебя тятка сделал, не из отходов. А и гсударевы слуги постарались. Видать, поубавить хотели прыти. – И засмеялся.

Потом он мазал Смолькова, рассказывал:

– Все хворобы эта мазь лечит. В Коле приятель мой отменно из трав готовит. На всем Мурмане славится.

– Денег, поди, стоит, – сказал конвоир, – а вы тратитесь.

– Стоит, согласился хозяин. – Да на божье дело не жаль: все доброе нам в зачет идет. Друг об друге, а бог обо всех.

Из бочонка налил в деревянный ковш водки, подал Андрею.

– На-ко, хлебни. От любого недуга первое средство.

Уважительно смотрел, как Андрей, перекрестив ковш,пил большими глотками, налил и Смолькову. На выжидательный взгляд конвоира спросил:

– А ты крещеный?

– Крещеный, крещеный. – Конвоир вытянул из-за пазухи крест, быстро перекрестился.

– Это у тебя тело крещеное, – смеялся хозяин. – А душа-то нехристь!

Подав ковш конвоиру, подождал, пока тот выпил, и выводил всех из каюты:

– Идите на палубу, спите. А вы, служивые, с ними идите

да сторожите их с тщанием, чтобы не подевались куда...

На палубе Андрей ничком лег на зипун и сразу же заснул.

Не слышал он, как заканчивали погрузку и ставили паруса, как вышли в море.

2

Андрей видел море впервые. И теперь, утром все глядел и дивился на простор воды, света и воздуха, на белух и чайк, на корабль и паруса, полные ветра.

Матросам хозяин бездельничать не давал. Они управлялись с парусами, мыли и скребли шхуну, чинили снасти, вечерами садились щипать паклю. Большими тюками приносили ее на палубу и устраивались в кружок, раскуделивали плотные волокна, вели нескончаемые беседы, пели песни.

Для ссыльных жизнь на корабле шла неторопко. Конвоиры их не тревожили, корабельные люди не приставали, еда против тюремной была добрая. Поев ухи, Андрей молча пристраивался к матросам и помогал им. Вечерами слушал рассказы о загранице, о тамошних порядках. Засыпал с намазанной спиной скоро, спал без сновидений, а утром вставал, ощущая, как затягиваются раны и, наливаясь здоровьем, крепнет тело.

Как-то вечером бойко дувший в паруса ветер стих, а затем и вовсе пропал, будто улегся на воду. Обвисли паруса, шхуна замедлила ход. Солнце ушло за горизонт, оставив на море теплые сумерки и тишину. После ужина матросы сходились на палубе, усаживались, перебрасываясь словами, курили и нежились теплом вечера.

Смольков сидел против Андрея, строгал полено. Он от-

далял поделку на вытянутой руке и разглядывал ее, потом опять резал.

– Что это? – любопытствовал Андрей.

– Медведя режет, – сказал матрос Афонька. – Только белый он не такой, морда длиннее.

– Я не белого...

– Ишь ты, руки-то умелые.

Почтительно смотрел Андрей, как режет Смольков. Руки подвижные, стружку снимают споро. Сидит незнакомый какой-то, новый. Обычно Андрей считал себя сильнее, и Смольков принимал это. Но иногда он неузнаваемо менялся. И тогда ощущалось: Смольков старше и много опытнее.

Подошел хозяин. Стоял, смотрел на смольковские руки, на, матросов, на обвисшие паруса.

– Вот дал господь погоду...

– А ты не горюй, Платоныч. Смотри, благодать-то какая! Хозяин опустил на паклю, лег навзничь, смотрел в небо.

– И вправду благодать... да за суетой все чаешь красоты божьей.

– Уж и где ж, братцы, будем день дневать, ночь ротать? – напевно затянул матрос. И несколько голосов, будто ждали этого, подхватили родившуюся в вечере песню:

*Будем день дневать во чистом поле,
Ночь коротать во сыром бору.
В темном лесу, все под сосною,
Под кудрявою, под жаровою.*

Песня ширилась, росла, набирала голос. Хозяин пел со всеми. Низко, у самой воды, играли первые звезды. К ним плыла, покачиваясь, старинная тоскливая песня, тревожила душу.

*Нам постелюшка – мать сыра земля,
Изголовьице – зло кореньице,
Одеяльшико – ветры буйные,
Покрывальшико – снега белые.*

Смольков перестал резать, склонил голову и закрыл глаза, слушал, как разливается песня, то затихает, то поднимается над притихшим морем.

*Родной батюшка – светлый месяц,
Зорька белая – молода жена.*

Тоскуя, ушла в сумерки, смолкла песня. Все молчали.
– Эх, мандолину бы, – вздохнул Смольков, – душа наружу просится... – Глаза, обычно заискивающие, преобразились, взгляд стал незнакомым.

– Гляжу я на тебя и не пойму, что ты за человек, – сказал хозяин.

– Это про меня?

И даже теперь, в сумерках, Андрей будто увидел ясно, что глаза Смолькова опять по-собачьи ласковы стали.

– Ох, и скрытен ты! Не поймешь, где у тебя что. Андрей хоть и молчит, а весь на виду...

Было в словах хозяина такое, что Андрей почувствовал еще в тюрьме, когда впервые Смолькова встретил. Схваченный под Архангельском, Андрей молчал упрямо и обреченно. После допросов лежал избитый в камере. А Смольков услужливый и воды подавал, и горбушкой делился, и утешить умел.

Как-то ночью лежали они на соломе, шептались. И Смольков рассказал о себе, о планах своих, о том, что ему верный попутчик нужен. И взял с Андрея слово, клятву такую страшную, что вспомнишь только – и днем жутко делается. Но Андрей не кается: научил Смольков, что на допросах говорить. И сбылось – вместе выкрутились они, а теперь на пути к цели. Скоро и Кола будет, а там, говорят, Норвегия не за горами.

И прав и не прав хозяин. Смольков добрый и верный. Только слабый он, пытанный. И, помня уговор держаться купно, сказал:

– Вы обхаживаете меня, как девку на выданье.

Кузьма Платоныч развел руками:

– Да вот и сам не пойму, люб ты мне. – И усмехнулся. – Надежный ты. С таким хоть в лавке торговать, хоть с бабами спать – не осрамишься.

Матросы засмеялись.

– А что, Андрей, – продолжал хозяин, – пойдешь на судно

ко мне? Я из тебя ох какого приказчика сделаю!

– То не моя воля. Да и пошто зовешь? Может, я убивец какой?

Хозяин рассмеялся, сел на пакле, разглядывая Андрея.

– Ты? Убивец? Да я, если хочешь, всю жизнь твою, никого не спрашивая, скажу.

– А ну-ко, ну-ко, Платоныч, позабавь душу, – смеялись матросы, – и к кольскому ведуну ходить не надо...

Андрей молчал. Не нравилось ему это.

– Ты ведь из солдат? Беглый? – с нажимом спросил хозяин, и в наступившей тишине Андрею сделалось одиноко.

– Из солдат...

– Тебя поймали, судили, а теперь сослали в Колу. Верно?

– Верно...

Андрей испугался, что выведает сейчас хозяин самое главное, и решил больше не отвечать.

С моря послышался зычный, протяжный голос:

– О-го-го-го!!! Крещеные!

Хозяин встрепенулся.

– Никак гости к нам? Афонька, зажги-ко фонари да в казенке ставь самовар. – Он поднялся, пошел к борту. Вглядываясь в темноту, громко окликнул: – Эй, кто тут?

С моря доносились мерные всплески весел. Покрывая их, из темноты уже близко спросили:

– Никак Кузьма Платоныч будет?

– Он, он самый! – Хозяин обрадованно помахал фонарем,

будто головой закивал. – Вот дал господь свидетелься. Афонька, стервец, давай еще фонари, гостей принимать будем.

Смольков, крестя рот, деланно зевнул:

– Спать, что ли, пора?

– Пора, – согласился Андрей. Он был доволен. Хозяину теперь не до них.

Пошли в трюм, ощупью забрались на паклю, постелили онучи, укрылись зипунами. Смольков придвинулся близко, обдавая дыханием, шептал:

– Молодец ты, Андрюха! Правду хозяин сказал, надежный. Я это в тебе сразу разглядел. Верно говорю. Хорошо ты ему ответил. Он купец, купец, а все выведать хочет. Ты не верь сладким речам, хитри. Хитрость – она, брат, второй ум.

С палубы доносился оживленный говор, женский смех и голос хозяина.

– Нет и нет! Не отпущу. Сегодня в месяцеслове разрешение вина и елея показано. Милости прошу в казенку... А Нюшка-то, Нюшка красавицей какой стала!.. Жар! Так и пыляет, так и обдает... Эх, где годы молодые!

«Да, надо быть хитрым, – думал Андрей. – Надо уметь молчать и притворяться. Тогда, может, и сбудется. Прав Смольков. Надо учиться хитрости. А то впросак попасть – раз плюнуть...»

Чуть свет Андрей выбрался на палубу, нетерпеливо потрусил на корму. Утро было тихое. Густой туман оседал на шхуну холодной сыростью, изменяя привычные очертания.

Возвращался Андрей шустро, шлепая босыми ногами по мокрой палубе. На ходу застегивал, заправлял портки. Неожиданно сбоку почудилась расплывчатая фигура. Не останавливаясь, оглянулся, не веря глазам, и больно ударился о корабельный колокол. Тишину разбудил ноющий медный голос. Андрей схватился за колокол, гася гудение, и обмер. Из тумана к нему шла-плыла красавица девка. В красной кацавейке, отороченной белым мехом, в расшитом сарафане. Андрей помнил: женщин на корабле нет. Ведьма! Он быстро перекрестился, потирая ушиб, попятился.

– Эй, куда же ты, добрый молодец? – залилась смехом ведьма.

Андрей опомнился, погрозил ей кулаком и сбежал в трюм.

– Чтой-то колокол шумел? – сонно спросил Смольков.

Андрей укладывался под зипуном, таиться не стал:

– Ударился нечаянно. Увидел в потемках бабу, думаю – ведьма, что ли... А то, стало быть, вечер к хозяину гости.

Лежавший невдалеке Афонька зашевелился и полусонно заворчал:

– Не баба, а девка. Да еще какая! – И почмокал губами.

Андрей конфузливо улыбнулся:

– Ладная.

– Так ты со страху-то и давай башкой в колокол бить? – фыркнул Афонька.

На завтраке потешалась вся команда. Давясь кашей, Афонька рассказывал, как Андрей головой бил в колокол, будто злых духов, отгонял от себя бабу. Шутил и Смольков.

– Не меня она поманила, – заскребал он в котелке кашу, – я бы не стал в колокол бить.

– А что бы ты сделал? – спросил звонкий голос.

Все обернулись, и Андрей увидел ее днем, при свете. Уверенно, по-хозяйски она прошла к Смолькову, взяла его за ухо и подняла.

– Не все сбывается, что желается... – пунцовые губы ее смеялись.

Афонька опасливо отодвинулся. Все гоготали над Смольковым. Андрей хотел незаметно уйти: кто ее знает, наверно, богатейка, прав не будешь. Но она загородила дорогу:

– Ух ты! Парень-то какой ладный, – игриво рассматривала Андрея. – И впрямь добрый молодец. Где это такие водятся?

Андрей пытался ее обойти:

– Езжай в наши края, найдешь...

Но она стала перед ним бойко, закинула голову.

– Зачем в ваши? У нас свой есть... – на Андрея близко смотрели улыбчивые глаза. – Да и ты к нам едешь. – И засмеялась лукаво: – Аль наши девки да бабы некрасивые?

Андрей вспомнил о конвое, нахмурился:

– Ступай себе, что привязалась?

– Нюшка, где ты запропастилась? – позвали с палубы.

– Ишь ты, – засмеялась Нюшка, и в голосе появилось тепло. – Еще не знuzданный.

Гости садились в лодку, хозяин напутствовал:

– Посошок полагается, посошок. Ничего, на море воно как тихо.

– Тихо не лихо, да гребля лиха.

– Ничего, вон в голомени белухи как разыгрались. Поди, и ветер скоро будет. Поставите парус – спи себе.

– Путь-дорога честна не сном, а заботой.

– Дойдете благословясь. Посошок-от надо...

Лодка отчалила, и все собрались у борта, смотрели, как гребцы налегают на весла, желали доброго им пути.

Нюшка обернулась с кормы, отыскала взглядом Андрея, махнула рукой:

– Эй, добрый молодец, приходи в Коле на вечерицу... – И залилась смехом. Такой Андрей ее и запомнил: озорной, веселой, красивой. Из-под нарядного кокошника зовущие глаза и яркие, в лукавой улыбке губы.

Посрамленный Смольков судачил с Афонькой:

– А девка-то сдобная...

– Пшеничная девка...

– Еще мужиком не лупленная, вот и гонорится.

– Оно так, – согласился Афонька, – баба – что пенька: чем

больше мнешь да чистишь, тем она мягче.

– Эх вы, гуси-головы, – вмешался хозяин. – Это же колянка! В Коле бабы – другое. Сказано не нами: Кола – бабья воля! В Коле баба мужика стоит!

К обеду поднялся ветер. Шхуна бежала резво. С боков ее обступали горбатые берега. Хозяин поглядывал на залив, на проходившие справа острова, на береговые приметы и все говорил: «Теперь смотреть надобно». Кликнул всех на палубу, приказал другие работы оставить, быть на случай готовыми. А потом, миновали когда острова, отошел от рулевого, жмурился на солнце, рассуждал благодушно:

– Поутру роса обильная и тепло днем – для грибов самая благодать. – И, задирая кучерявую бороду, поглядывал на сопки мечтательно: – Грибов живет там страсть сколько...

Андрей умильности хозяина не понимал. Его пугали эти угрюмые берега. Торчат из воды каменные громады, горбятся вдоль берега, почти безлесые, дикие. Казалось, попади туда – окружат, сомкнутся, считай – пропал. И сколько б ни шел потом, конца им не будет: хоть закричись, равнодушные, как в тюрьме караул, не откликнутся.

Все впереди казаться стало сомнительным. Не верилось, что где-то здесь могут жить люди, что можно ходить по этой земле, чужой, неуютной. И меркли мечты о новой жизни, о вольнице. Куда тут бежать? Сгинешь в этом безлюдье. Ни дорог, ни деревень, ни скота, ни людей. Кругом лишь камни, да кресты на берегу изредка. Худо все, ох как худо! А тут хозяин еще... Нет-нет да и чувствует Андрей на себе его

взгляд, умный, насмешливый. Со Смольковым и несколькими словами не дает перекинуться. Глядь, опять уж тут как тут.

Когда сготовили варево, все на палубе разместились. Андрей поглядывал на Смолькова, хотелось поговорить. Но все время рядом люди. Смольков угнетен тоже, ест вяло. Увидел крест на берегу, и глаза сразу стали пугливые. Зачерпнул ухой ложкой, да так и не донес до рта.

Хозяин тут же ел из котла. Перехватил взгляд Смолькова, с усмешкой пояснил:

– В Финмаркене на берегах знаки стоят навигацкие, опасности означают разные, а у нас вон – кресты во славу божью. Не глазей, не могила то. В беде были люди. А спаслись – крест святому Николе поставили. – И засмеялся. – У нас говорят: от Архангельска до Колы триста тридцать три Николы. Во как! Святое место. Кто пеший идет мимо – остановись, поклонись, привяжи к кресту монету ли, пулю или хоть одежды клочок, а дань отдай. Такой уж обычай. При чем кресты? Э, парень, не знавал ты, видать, еще лиха. Не такие, как мы – черви земные, а помазанники божьи самолично брали топор в руки да кресты ставили.

На недоверчивый взгляд Смолькова поведал:

– Сам царь, Петр Великий, как после бури живым остался, своими руками крест в Унской губе во славу божью поставил. – Помолчал задумчиво. – Любит он, бог, славу-то. Чтоб хвалу ему воздавали, чтоб чествовали его. Как и мы,

грешные. Потому – по образу и подобию его сделаны.

Отобедали. Хозяин встал, покрестил лоб, принюхался к ветру, окинул взглядом паруса, шхуну и опять посмотрел на Андрея долго, подобрел лицом.

– Вот он какой, кормилец наш, Мурман-батюшка! Здесь земли край, здесь и до бога, и до нечистой силы рукой подать. Знаешь как говорят: от Колы до ада – три версты. Вот как! Самое что ни на есть тридевятое царство. Старики сказывают, раньше тут жили только колдуны да знахари. И Иван-царевич в старину тоже сюда, на лукоморье, за счастьем ходил. Он будто и оставил потомство-то. С тех пор и считают: все коляне знатных кровей. Оттого и крепостных в Коле нет. Все себе господа. Особенный город. На Российском Севере таких нет больше.

И все смотрел на Андрея, будто только ему и рассказывал.

– Эх, а выйдешь летом в Коле на Соловараку, так и начинаешь видеть мир наш грешный в первозданном явлении. Тут тебе и город, столица всей земли полуношной; тут и вараки¹ сторожат залив, словно дите малое, от стужи хранят; тут и сам он, дорожка наша торговая.

Сытно поев, корабельный люд развалился кто где на палубе, томился бездельем. Плутоватый Афонька ценил такие минуты, знал, о чем спросить хозяина.

– Скажи, Платоныч, а взаправду ли остров, что обошли давеча, ведуна кольского, Гаврилы?

¹ Варака – лесистая сопка. (Здесь и далее – прим. авт.).

– Сальный-то? Взаправду. Сама царица Наталья Кирилловна подарила. Гаврила по наследству и по сей день им владеет... Прабабка Гаврилина, сказывают, умом и догадкою славилась. Умела она не только лечить, а еще дар имела особый – предсказывать пол и судьбу младенцев неродившихся. И так она предсказывала, что слава до самой Москвы разнеслась. А в ту пору, сказывают, царица Наталья Кирилловна тяжелой ходила. Извелась сомнениями, да и призвала к себе эту прабабку Гаврилину. Скажи наперед, дескать, кто родится да какую судьбу иметь будет? И предсказала ведунья, что родит царица сына умом столь великого, каких при дворе еще не знавали. Будет, дескать, такой царь – прославит всю Россию... Сказывают, царь Петр уже большеенький был, когда вспомнила царица про ворожею, да и подарила ей этот остров богатый. Сальным же прозван потому, что на его берега тюленей выходит много. Большой доход остров приносит... А Гаврила-то и сам – ведун. Знахарь на весь Север известный. Его мазью вот, – и снова кивнул Андрею, – на ноги вас поставил, божье дело сделал.

За бортом плескалась вода. Смольков лежал за спиной Андрея, слушал хозяина. Улучив момент, шепнул:

– Ишь, сказочник. Заливает – хоть на посиделки зови.

Андрей поднялся, отошел к борту. Смотрел на берега, на воду, думал о том, что его ждет. Беспокойные мысли путались, не могли улечься.

Смольков стал рядом.

– Ты его слушать слушай, а в голову не бери. Он хитрый. Все приручает тебя. Купец он. Ему это все одно что купить-продать. Главное – себе выгадать. А ты о своей выгоде должен думать... – Хихикнул тихо и радостно. – Я сказок тоже порассказать могу. Меня одна мужики изымали в лесу. Обрадовались. За поимку, мол, беглого староста три рубля дает... Я на колени. Одумайтесь, говорю, православные, отпустите. Человек я лесной, слова знаю тайные. Скажу вам – клад сыщете. Усомнились: пошто, говорят, сам не берешь? Без надобности мне, отвечаю. Зачем он нужен, коль в лесу я живу, о вас, грешных, молюсь? Наговорил им слов всяких с три короба – поверили. По сей день, поди, клад-то ищут...

И, озираясь, шептал:

– Надо порасспрашивать его, часто ли в Норвегию ходит да в Коле бывает. Он, может, еще сгодится нам.

Андрей оглянулся. Хозяин поманил его пальцем, позвал:

– Поди-ка сюда, парень. – И, разглядывая его с прищуром, спросил: – Никак закручинился?

Андрей пожал плечами, решил смолчать: надо и впрямь держать ухо востро. Скажешь еще что не так...

Но хозяин ответа и не ждал.

– Вот смотри, – показывал он. – Как тот мыс обойдем, так и город Кола лицом к нам навстречу выйдет. В нем теперь жить будешь. Диковинный город. Летом солнце два месяца по небу плавает, не закатывается.

От борта вернулся Смольков, стал около.

– Повезло вам, – говорил хозяин, – ночи еще нет, а время самое доброе наступает. Поморы скоро домой вернутся.

Судно ползло заметно медленнее.

– Ишь, тяжело, – ворчал хозяин. – Течение с Туломы встречу пошло. – И говорил рулевому: – Правее, правее держи, варнак. Тут глубину знать надо. Не смотри, что широко. Не ровен час, в малую воду на мель выскочишь, будешь ку-карекать, а то и судно мне загубишь.

Взяли правее, шли близко к скалам. Какие они, однако, костлявые! Что как суденко бортом об них? Хозяин говаривал, тут акулы. А о них Андрей за дорогу наслушался...

Кузьма Платоныч успокоился, продолжал:

– Летом, Андрей, в Коле остаются только те мужики, что суда чинят или дома. Остальные все на промысле. Домой только осенью возвращаются: отогреться, отлежаться да праздники по завету отцовскому честно справить. Наступает у них тогда ликование. И песни, и сказки, и ребята со звездю ходят, и ряженые... Коль улов прибыльный, зимуют весело. А весной опять в море. Оно хотя и горе, а без него-то вдвое...

За мысом, казалось, был тупик. На пути встала гора, и к ней сошлись оба берега, закрыли проход по заливу. Гористый правый берег косился на залив густою тенью, а дальше на воде, прямо в глаза – много солнца. Но Андрей рассмотрел: под горой прилепился незнакомый город. Он сверкал куполами церквей, сползал почти до самой воды угрюмой,

как и всё вокруг, крепостью, вставал на пути: не объедешь, не обойдешь.

– Ну, вот и подходим. Даст бог, сгрузим почту да вас, грешных, и сами отдохнем. А поутру уж, если ветер будет, дальше пойдем, к норвегам...

Смольков изогнул в повороте голову, смотрел на хозяина снизу вверх, вмешался заискивающе:

– Часто, поди, туда ходите?

– В Норвег-то? Часто... – И подумал о чем-то. – Не ходимы, так им хоть с голоду помирай...

– Как это? – удивился Смольков.

– А так. Хлеб им возим, пеньку, лесок да то-се по мелочи.

Мы-то их побогаче живем...

– А ваши матросы сказывали: там богаче живут.

Лицо хозяина посуровело. Надвинул на глаза кожаный картуз, смотрел вперед, на город, хмыкнул:

– Есть и живут. Кто умом наживной да к делу пришивной. А у кого свыку нет или сам ошкуй, тому нелюбо везде. И в Коле вон, кто умеет покрут обряжать иль с умом торговать – тоже живет. – И голос стал строже. – Что тебе на других глазеть да в чужом кармане деньги считать? В Коле и тебе место сыщется. Видел я, какого ты из полена медведя резал. Руки умелые, на них и надейся... – И опять подобрел лицом. – Коляне тоже зимой, да и летом, на промысле, час есть свободный, любят поделушки резать: зверье какое, птиц ли, утиц или чаек. Режут из дерева, гнут из прута да раскрашивают.

Баско выходит. Вешают потом в чистых залах или украшают ворота, палисадники да мезонины. – И повернулся к Смолькову: – Вот и ты на хлеб заработаешь, не умрешь с голоду...

Матросы убрали паруса. Хозяин следил за ними, говорил рулевому:

– К причалу-то бортом, бортом правь. – А сам то и дело на берег поглядывал.

На берегу редкой толпой бабы и ребятишки, а на отрубистом причале одинокий старик.

Сухой и высокий, стоит неподвижно, опираясь на трость, ждет судно.

– Игнат Василич Герасимов, – промолвил хозяин. – Уважаемый человек в Коле. Видать, о сыне справиться вышел. Сам уже не стал в море ходить, постарел. А смолоду моряк ходовый был. Страсть как Север любил. Тут кругом и земель и морей таких нет, где б не бывал он. Все скрозь прошел. Сыном теперь живет. Вся забота об нем. Чтоб моряком был. Сын-то его образованный. В Кеми шкиперское училище кончил. Важнецкий парень, рисковат только. Раз гляжу, загрузился – до трети мачты бочонки стоят. Бывает, и топит таких-то...

Судно постепенно теряло ход, причал наползал медленно, полоса воды до него становилась все уже. Хозяин сложил руки трубкой, крикнул:

– Игна-а-т Васи-и-лич! – Над головою махал картузом.

Старик на причале ожил, тоже снял шапку, ответно кла-

нялся.

Заспанные, на палубу вышли конвоиры, оправляли себе мундиры, чистили их, осматривали ружья. Пошептались в сторонке и подошли. Старший, деланно хмурия брови, зато-ропил:

– Собирайтесь живо. Напрохлаждались тут, будя...

За дорогу конвой не докучал, и, попривыкнув, Андрей подчас забывал о нем. А сейчас будто увидел, как голос конвоира враз отделил его от всех, словно стену поставил. Андрей вздохнул, понуро побрел за Смольковым в трюм взять зипун и котомку.

Когда поднялся обратно, на палубе было суматошно. Шхуну вязали к причалу, по трапу уже шел хозяин. У матроса кожаный мешок с почтой, он торопился следом. Андрей, спускаясь по шаткому трапу, вспомнил, как в Архангельске нес мешок. Теперь спина зажила. На миг показалось, будто чего-то не доставало. Тряхнул за плечами котомкой: все на месте. Но потеря была ощутима: исчезло что-то невосполнимо нужное, к чему приросло сердце. Он мучительно пытался вспомнить что и никак не мог.

Шаткость прошла. На причале скользкие бревна пахли рыбой. Старик и хозяин обнялись, поцеловались трижды. Держась руками, разглядывали друг друга.

– Не стареешь ты, не стареешь, Игнат Василич...

Андрей видел, как приятно смеялся хозяин, решил:

«Пойду попрощаюсь. За доброе обхождение поклониться»

не грех». Но конвоир преградил путь и угрожающе потрянул ружьем:

– Куда?! Давай, давай, пошел сюда вот...

Он резко толкнул Андрея, и тому снова, как совсем недавно еще, захотелось рвануть ружье, забросить его подальше и бежать. Бежать куда глаза глядят, куда несут ноги. Бежать, лишь бы не слышать погоняющих окриков, не чувствовать себя в стаде, шарахающемся от свиста кнута, улюлюканья загонщиков и лая собак.

Смольков двумя руками нахлобучивал шапку, поспешно заверял конвой:

– Идем, милыя, уже идем...

Андрей обреченно пошел за Смольковым. Смешанная с завистью к старику на причале, шевельнулась ревность к хозяину и упрек: «Что ж не попрощался-то?»

Их вели берегом у воды, вдоль крепости. Стены ее из толстых, в обхват, бревен, темно позеленевшие, от земли поросшие мхом. Конвоиры держали ружья на изготовку, шли торжественно. Коляне уступали дорогу, провожали кто откровенно любопытным, кто сострадательным взглядом. Мальчишки останавливались, притихшие, в глазах любопытство и недоумение. А те, что поменьше, босоногие и грязноносые, в длинных рубахах, бежали следом и радостно кричали: «Рестантиков ведут! Рестантиков ведут!»

Смольков не обращал на это внимания. Он шел суетливо, предсказывал:

– Не горюй, Андрюха. Скоро уж. Вот сведут к исправнику – и караул долой. Без них ходить будем. Определят на квартиру, и смотреть за нами никто не будет...

Хозяин шел где-то следом. Андрей слышал, как он осторожно говорил старику:

– Рассказывали мне, очень уж грузит Кир шхунку-то. Отчаянный он у тебя.

– Грузит, грузит, – соглашался старик. – Оттого и часу покоя нет. Киру-то все по-своему надо. Оно и дай бог, чтоб получилось, только ведь спокойнее, когда без риску-то...

– Это смолоду. Пообвыкнет – будет, как все, беречься.

Матрос с почтовым мешком обогнал их, свернул к кре-

постной башне и скрылся в ее чреве. На башне искусно вырезанный деревянный герб царский: во всю стену орел о двух главах. Под орлом ворота в башне раскрыты настежь. За ними тень сумрачная, подземельная. Андрей чуть замедлил шаг. В спину уперся штык, и конвоир прикрикнул:

– Ну-ну, проходи!

От боли Андрей отпрянул, – обернувшись, схватил за штык, резко дернул его к себе. Конвоир споткнулся и выпустил ружье. Онемело прирос взглядом к Андрею, хватая воздух пустыми руками, будто что-то искал впотьмах, и испуганно зачистил:

– Ты пошто, ты пошто?!

Второй конвоир оторопело моргал глазами. Не зная, что делать дальше, Андрей опустил ружье.

– А пошто ружьем балуешь? – хозяин со стариком стали рядом. Голос у Платоныча строгий. – Скотину и то добрый хозяин не бьет...

Старик, смеясь, посоветовал:

– Мушкет-то бросить в залив, наперед знать будет...

Кузьма Платоныч забрал ружье, вернул его конвоиру.

Андрею сказал строго, медленно:

– Горька твоя доля, а в искушение впадать не надобно. –

И спросил конвоира: – Куда вы теперь с ними?

Солдат, получив ружье, обрел независимость и дар речи:

– Знамо куда, к исправнику.

– Прости, Игнат Василич, пойду с ними. Как бы не вышло

чего.

– Зайдешь погостить-то?

– Зайду, непременно зайду, – заверил хозяин.

Городничий Шешелов ждал почту. Нетерпеливо ходил он по кабинету, поглядывал на ворота крепости, на дом почтмейстера, видел, как туда пронесли кожаный мешок, как его заносили в дом. Прислонив к холодному окну лоб, он стоял и барабанил пальцами по стеклу, потом позвонил в нетерпении и послал Дарью за почтой, отыскал костяной нож, сам подвинул кресло к теплой печке-голландке, ближе к свету и сидел, подкладывая в топку поленья, смотрел на огонь.

Дарья принесла полную кису и неторопливо вынимала из нее обернутые книги, журналы, а он ревниво следил за аккуратными движениями ее рук. Хотелось, чтобы скорее она ушла, а он остался бы тут один и все посмотрел сам.

Дарья кончила выкладывать книги и протянула ему тощий конверт с печатями губернской канцелярии.

Шешелов положил его на край стола и отпустил Дарью. Посмотрел и отодвинул пакет еще: настроение испортилось.

Все это повторялось с каждой почтой. Он ждал книг и боялся казенных пакетов. Ему претили эти большие, заляпаные сургучом конверты. Они лишали его покоя.

Грузный, медлительный, сидел он в кресле, смотрел на книги, на огонь камелька, гадал, что может быть в конверте. Вскрывать его не хотелось. «Какой-нибудь пустяк, – уговаривал он себя, – сначала надо посмотреть книги».

Он взял первый журнал. Пробежал взглядом заголовки. «Стихи князя Кропоткина». «Проезд через Закавказский Край» – барона фон Корфа. «История величия и падения Цезаря Биротто» – роман господина Бальзака. Шешелов, перелистывая страницы, смотрел картинки, предвкушал, как в долгие зимние вечера будет все это читать, мысленно путешествуя по огромной земле. «Страсть к составлению торговых компаний обуревают теперь Париж...» «Двигательная электромагнитная сила господина Якоби... нужно найти устройство, чтобы снаряд давал ток сильный, ровный и продолжительный. Профессор господин Якоби решил эту трудность...». «Шведский город Гётеборг построен из камня, вывезенного из Шотландии. Все старинные здания Петербурга сложены из голландского кирпича. После сожжения Москвы в 1812 году кирпич всей Европы отправлялся в эту древнюю столицу. В Вильно часть соборной церкви построена из черного шведского гранита. Улицы Одессы мостятся итальянским камнем. В Лондоне делают шоссе из камня, вывозимого из Китая как балласт...»

Закрыв журнал, увидел на столе серый конверт. О, эти губернские конверты! Вечно они обязывали, требовали, грозили. И он не мог отделаться от ощущения, будто в них спрятано что-то мерзкое. Подумал, что сегодня, пожалуй, пакет можно и не читать. И завтра тоже. Он повременит еще неделю, больше. Он не будет знать, что там написано.

И по-детски обрадовался своей хитрости. Он насолит им.

Он займется своими книгами.

После обеда Смольков повел Андрея показывать Колу. На пустынных улочках трава начала густо желтеть, казалась теплой и мягкой. Светило низкое солнце. Город был тихим и дремлющим. У редких прохожих в глазах немой вопрос. Смольков предупредительно снимал шапку, кланялся, желал здоровья. Кланялся и Андрей; отойдя, незаметно оглядывался: приставив ладонь к бровям, кояне смотрели им вслед. А Смольков ретиво шагал, не останавливаясь, уверенно вел Андрея.

– Куда ты гонишь? – не утерпел Андрей.

– Иди, знаю куда веду... Ахнешь.

Смольков опять старшим сделался. Его сметливость, умение обращаться с незнакомыми людьми, бывалость поражали Андрея. Про себя лишь дивился: настолько преобразился Смольков, даже походка другой стала. Надо его держаться, думал, из тюрьмы вызволил, чуть ли не жизнь спас. А как с исправником разговаривал – по-благородному! Деньги на житье не просил – требовал! Ничего не боится. С квартирой уладил, хозяйку так умаслил, что накормила и баню пошла топить.

Из переулка вышли две девки. В красных сарафанах, с ведрами на коромыслах, они весело болтали о чем-то своем. Смольков ускорил шаг, расправил на рубаше опояску, заиг-

рывая, спросил:

– Куда это вы с пустыми ведрами?

Девки остановились. Глаза с неостывшим смехом, любопытные. Сами характером неробкие.

– В Колу, топить пошли!

– Жемчуг черпать!

Андрей подходил за Смольковым. Отличались здесь девки. Вот и эти: одежда вроде будничная, а с достатком, нарядная.

Смольков не умолкал:

– Или в колодцах воды не стало?

– Заходите, угостим вас!

– Скотину поим из колодцев, подселенная она там.

– А неленивые из Колы пьют!

Они говорили Смолькову в тон, бойко, и Смольков, не смущаясь нарядности девок, пересмеивался с ними, браво расправив узкие плечи, лихо заломив шапку. Андрей ждал поодаль, в разговор не встревал. Смольков подошел возбужденный, похвастал:

– Девки, они, брат, всегда мои были. Добуду мандолину – сам увидишь!

– Что это они разряжены, вроде праздник ноне престольный?

– Не из бедных, видать. Вишь дома-то вокруг какие...

Дома и вправду больше двухэтажные, из бревен толстых, крыши тесовые. Окна что в горнице, почти везде одинаково

светлые, крашенные. На окнах цветы – фуксии да герани, занавески чистые. Ровно баре живут. В родных местах Андрей видал такие дома только у первых богатеев.

– Вольные, – сказал Смольков, – граница рядом.

А там, – махнул рукой в сторону, – там еще богаче живут. Там совсем воля...

Андрей присматривался к городу. Да, хороши дома. Ворота с навесами. Под навесом крест – почитают бога. Нет, не все дома одинаковы. Есть вон и победнее, с подслеповатыми оконцами, а вон и тесницы на крыше зеленеют от мха. Вдоль домов мостки деревянные, заборы тесовые. А лесу кругом не видно. Где же они его берут? Холмы – вона какие! Покатые да большие, а поросли только кустарником. И сколько шли по заливу, тоже лесу почти не видели. На князьке у домов, на амбаре ли, к высоким шестам петухи, человечки, кораблики прилажены. Искусно вырезанные, разукрашенные, с вертушкой.

– Для чего это? – спросил Андрей.

– Флюгарки. – Смольков знал все. – Ветер показывают. Морем тут кормятся.

– Знатно живут, и бар тебе никаких. А ведь тоже Россия.

Смольков почему-то рассердился:

– Они не указ нам и не ровня. У нас судьба на бумаге записана, а бумага лежит на полке. Пока не трогают, и нам хорошо. А поднимут да поглядят в нее, и пойдет раб божий Андрей Широков обратно. Да не в солдаты, нет, брат, на ка-

торгу.

– Чего это они их поднимут? – с недоумением отозвался Андрей. – Я свое получил.

– Не все, Андрюша, – тихо-тихо сказал Смольков. – Спросят: зачем лгал, зачем напрасную клятву давал? Или забыл, как сюда попал?

Андрей замолчал. Ну зачем же так? Ничего он не забыл. Говорить расхотелось.

Они миновали окраину, домишки тут были и вовсе бедные, неухоженные да маленькие, и город остался позади. За луговиной поднималась гора. Смольков повернул по тропе вверх. Вся земля, как бородавками, валунами усыпана, везде песок да камень. Никудышная земля, к хлебопашеству негодная. И чем живут люди? Разве рыбой одной сыт будешь?

У Смолькова развязалась оборота от лаптя. Андрей вспомнил, как исподволь рассматривали их девки, ненароком задерживали взгляд на износившихся лаптях и серых онучах, прятали за веселым разговором любопытство. Нет, не мог Андрей, как Смольков, чувствовать себя на равных и шутить с ними.

Смольков наверху поджидал Андрея. Он тяжело дышал, на сухих щеках разлился румянец.

– Гляди, Андрюха.

Андрей подошел к Смолькову и оглянулся. Никогда он не видел такого раздолья сверху. Бледной синевой растекся за-

лив. А сопки, покатые и крутые, насколько глаз хватало, шли и шли к заливу, громоздились, теснили друг друга, то обнаженные, то усыпанные кустарником, в неярком солнечном свете играли первым золотом позднего лета.

Река справа и река слева. Внизу, под ногами, сгрудился город. Крепость раскинула стены-плечи, смотрела башнями на залив, отгораживала от него большой собор девятнадцатиглавый, каменную церковь поменьше и казенные дома. Теснились улицы, к крепостной стене жались дома, и только здесь, у подножия, на луговине было просторно.

– Да-а... – вымолвил Андрей.

– Что я говорил?

Смольков подошел ближе, и так стояли они плечо к плечу, удивленные, зачарованные, глядели молча. Поверху тянул ветер. Медленно плыли облака.

– Диво-то какое...

Андрей вдруг почувствовал, что и залив, и город этот, и слова Смолькова слились воедино, перемешались, и в душе зарождалось что-то, неведомое доселе. Оно ощутимо росло внутри, комком поднималось к горлу и требовало новых и необычных слов. Он глотнул воздуха и облизал сухим языком губы:

– Вот она, мать-Россея, в красоте какой начинается... Шапку охота снять, поклониться. Дивная сторона. Помнишь, на судне хозяин говаривал?..

Смольков отошел от Андрея, сел на камень. И Андрей

удивился – Смолькова как подменили, он смеялся:

– Врет половину того хозяин, а ты слушаешь. Сторона! Дерево путевое не растет. Ты больше своим умом живи. Они все хитрые, в душу хотят залезть, выведать, а ты распустил слюни: Россея! Не начинается она здесь, а кончается...

Не отрываясь Андрей следил за игрой облаков. Ему казалось, что вот-вот он постигнет что-то невидимое, но важное и большое, как этот мир.

– Ты еще не знаешь, – не умолкал Смольков, – красивых мест на земле – ой сколько! Рос-сея!..

Показалось, Смольков криком спугнул, помешал понять это новое, необычно важное. Непрошенная обида захлестнула Андрея, он повернулся к Смолькову:

– Ты-то отколя все знаешь?

Смольков осекся и помягчал голосом.

– Откуда? Верные люди поведали, что да как. Я наперед-ки много повыспросил. Узнал и про Колу-город, и дорогу дальше, и гору эту, Соловарака называется. Я, может, больше твоего хозяина знаю, только молчу. И ты, Андрюха, таись. Умней других не будь. Не любят люди этого. Ты голову-то ниже, ниже клони, не гордись. Потом благодарить меня будешь...

Смольков сидел на камне, заматывал на ноге онучу, на Андрея он не глядел. А голос у него опять ровный, тихий.

Он съехал с камня, вытянул ноги, сидел, привалясь к валуну, щурился на залив.

– Поведу я скоро тебя, Андрюха, в зарубеж, к норвегам. Никакая власть там достать не сможет. А людей там отродясь не пороли – закону такого нету. И работает там на медных заводах много беглых россейских. Живут не таясь, вольно...

Он говорил то же, что и в Архангельске, но теперь это звучало совсем иначе. И Смольков был другим: бывалым, знающим, сильным. Нет, не надолго держит Андрей обиду на Смолькова. Слушает Андрей, и дух у него захватывает. Еще недолго, и он, Андрей Широков, крепостной, с колыбели предназначенный в солдаты, будет вольным, себе хозяином. Неужто он сможет жить, не таясь от людей?!

Шешелов проснулся по-стариковски рано. Он хорошо провел вечер и даже сейчас был еще во власти прочитанного. Умиротворенный, словно после рождественской заутрени, он блаженно потягивался в постели. Хороший день. Он и сегодня будет перелистывать и читать полученную почту. Уже который год он вырезает и собирает интересные сообщения, тщательно сортирует их, подшивает, хранит! Он доволен своей коллекцией. В ней копят сведения, которым сможет позавидовать энциклопедия. Вчера был первый вечер, а впереди, в долгую зиму, у него будет много-много таких вечеров. Этих газет, журналов и книг хватит до следующей почты, а потом...

Холодком кольнуло воспоминание о пакете. Недовольный, он поворочался в постели, полежал, стараясь вернуться к прерванным мыслям, но покой был нарушен. Зябко поживаясь, он высунул из-под одеяла босые ноги, нашарил в темноте оленьи пимы, решил вставать.

Он разбудил в соседней комнате Дарью, велел согреть чай и спустился вниз, в городскую ратушу. В кабинете зажег свечи, прислонился к неостывшей печке, стоял, наслаждаясь теплом, косился на конверт, наконец решился, подошел к столу, вскрыл его и подвинул трехсвечник.

Да, да, он так и знал. Лихо придумали! И повод веский

– государственная граница! Но почему это «пришедшие в ветхость пограничные знаки» должен возобновлять именно он, да еще «по согласованию с норвежскими комиссарами»? Это значит – надо самому ехать в Норвегию, организовывать, хлопотать, беспокоиться... А он уже стар. И у него нет желания быть бойким.

Он сидел в кресле, размышлял над письмом, рассматривал свои руки. Некогда они были белые и холеные, а теперь кожа стала сухой и дряблой. А лицо? Он знает, какое оно, он чувствует, как тело неотвратимо тучнеет и дряхлеет. Приходит в ветхость, как пограничные столбы.

Пограничные столбы он хорошо помнил. Они действительно сгнили. Но он не хочет обременять себя. Единственное, что ему в удовольствие, – это полученные с почтой книги. А вся эта суета уже не для него. Он устал. Ему нужно прожить зиму, а летом он, может быть, получит разрешение и вернется в Санкт-Петербург.

Так что же делать с циркуляром из губернии? Работа громоздкая. Она надолго лишит покоя, будет отнимать силы. Он не хочет ею заниматься. Но по опыту знает: изведут повторными указаниями, будут слать их еще и еще. Нужно придумать что-то убедительное, что оттягивало бы исполнение. Да, да. Он придумал: скоро ночь, стужа, снег... «В условиях надвигающейся полярной ночи он не может выполнить предписание в срок и посему откладывает исполнение до весны...» Мысленно смеялся: от дерзкого ответа госпо-

дин губернатор сжует свою бороду. Нужно чем-то подсластить, успокоить. Покорностью. Они это любят. Можно так: «Однако за зиму он сделает заготовку леса для изготовления необходимого количества столбов, чтобы на протяжении...» Сколько же верст идет граница? Сколько необходимо столбов? Ну, это он подсчитает. Дальше: «Приказание губернии им будет исполнено с надлежащим чаянием». Ничего, зима долгая – столбы успеют заготовить.

Дарья принесла чай. Он обрадовался, обхватил горячий стакан ладонями, велел ей срочно позвать письмоводителя. Прошелся по кабинету: все придумано отлично! Только подсчитать столбы. Ответ должен быть убедительным, с цифрами.

Заспанный, с нерасчесанной бородой пришел письмоводитель. Сухо доложил, стоял, мял в руках шапку, равнодушно смотрел в угол. Шешелов видел его недовольство ранним вызовом и молчал, ожидая, что он спросит обычное: «Зачем звали?» Но писарь ждал терпеливо. Это хорошо. Все же он приучает этих колян к дисциплине.

– Вот что, братец, дай-ка мне карту по границе да садись за стол. Продиктую тебе письмецо в губернию.

Писарь послушно сел, взялся чинить перо, пробовал его острие о палец.

– Карты по границе у нас нет. Есть одна старая, еще времен, пожалуй, царя Петра, дак она не годится...

Шешелов был озадачен. Это не входило в его планы. Он

должен написать, что заготовит определенное количество столбов. Ответ должен быть убедительным.

– У нас, в Кольской ратуше, нет пограничной карты? Мы, выходит, не знаем, где проходит граница?

– Выходит, не знаем. – Писарь устало вздохнул. – Просили мы в губернии, да нам не дали...

– Как это исполнить? – Шешелов повертел в руках письмо, протянул его писарю. Писарь вздел на нос очки и, шевеля губами, прочел.

– Ежели исполнять, то границу всяк знает. Столбы ставить – дело нехитрое. А можно и написать в губернию: карты по новой границе нет, где ставить знаки – не ведаем...

– Что такое – старая и новая граница?

Писарь снял очки, нехотя пояснил:

– Раньше была одна граница, а потом приехали из столицы два чиновника, и появилась другая, новая...

– Ты подробнее.

– А я подробнее не знаю. Кто о границе много знал, того розгами драли. Так что теперь о границе никто вроде бы ничего не знает. – И смотрел с загадкой. – Если желаете подробно, то отец благочинный и Герасимов знают. У них спросите...

Шешелов насторожился: «Не смеется ли?» Благочинный и Герасимов люди гонористые и чванливые, считают себя истыми колянами, относятся к нему иронически.

– Так что велите писать?

Шешелов молчал.

По мере того как исполнение пакета оттягивалось, на-
строение его портилось. Эта губернская неразбериха! Опять
нужно бросать книги и заниматься бог знает чем! Правда,
можно им написать: карты в Коле не имеем, где граница – не
ведаем. Писарь прав.

– Нет, писать ничего не нужно. Подай старую карту.

Он разложил ее на столе, ветхую, пожелтевшую от време-
ни:

– Где теперь граница?

Следил, как писарь вел заскорузлым пальцем по бумаге,
провел следом черту, смотрел на кусок, что оказался теперь
за чертой, соображал.

– Когда, говоришь, это случилось? В двадцать шестом?

Хорошо, пусть писарь идет. Он должен остаться один, по-
думать.

Странно, он ничего не знает о передвинутой не так уж дав-
но границе.

Шешелов допил чай, закурил трубку, вспомнил, как летом
ездил с исправником по лопарским погостам. Как-то стали
они ночевать на тайболе², развели костер. Указывая на полу-
сгнивший, с царским гербом столб, проводник-лопарь ска-
зал: «Граница. Новый граница». Шешелов глянул на полоса-
тый столб. Для него это мера пути: теперь они поедут вдоль
границы, а потом повернут домой. Но лопарь разговорился:

² Тайбола – волок, пространство между озерами.

«Новый граница. Старый там, – махнул рукой на запад, – далеко. Родня живет, зверя много, рыбы, мох есть олешкам».

Исправник что-то сказал по-лопарски, и проводник смолк на полуслове, – продолжал хлопотать у костра. Шешелов немного удивился злости, что послышалась ему в голосе у исправника, но смолчал. Его измучили незаходящее солнце, тучи комаров и мошкары. Теплые дни выдались. Ему хотелось чаю и отдыха. Он подумал тогда: исправник поругал проводника за нерасторопность. Но сейчас понял: лопарь что-то хотел сказать, а исправник его оборвал. Тут что-то другое. Да, да, другое, Вызвать исправника? Он тогда не захотел сказать, и теперь, наверное, будет крутиться. Нет, для начала он поговорит с этими чванливыми колянами. Конечно, он не будет их приглашать в дом. Но здесь, в ратуше, он велит Дарье подать им чай.

А теперь он займется книгами.

Поутру вполыхом ударил колокол. Андрея словно пружиной подкинуло. Он сел ошалело: звон был настойчивый и призывный. С чего бы это? И стал тормозить Смолькова.

– Слышь, колокол набатит...

Смольков смотрел пустыми спросонья глазами. Вчера на горе меж ними легла какая-то отчужденность. Вернулись с вараки и больше не разговаривали. Вечером, укладываясь на сеновале, Смольков окинул Андрея взглядом и усмехнулся: «Ничего, перебродишь, зелен еще...» Андрея снова покоробили смольковская привычка растягивать в улыбке губы, не разжимая их, и его самоуверенная снисходительность. Так и уснули. Теперь Смольков, наверное, вспомнил вчерашнее. Он прислушался и сонно зевнул. – Ну и что? – спросил равнодушно.

– Случилось, никак, что-то?

– Тебе-то чего? Спи. – И стал укладываться. Но Андрей схватил его за плечо:

– Ты послушай, гудит-то как непонятно: не заутреня, не обедня. Может, беда какая...

Смольков проснулся совсем, опомнился, тревожно метнул взгляд по сеновалу. Звон бился под крышей, звал.

– Поостынь малость. Ведаешь, кто мы тут? Смотреть надо, что да как...

Он поднялся, осторожно открыл слуховое окно и глянул во двор. Утро влажное, с холодком обещало погожий день. Серебром разлилась роса. У будки во сне повизгивал пес. Было тихо и солнечно. Город еще не проснулся, и только звон плыл и плыл, наполняя все окрест.

В доме стукнула дверь, и на крыльцо выскочила хозяйка. В одной рубашке, босая, простоволосая, остановилась, тревожно вслушиваясь. И вдруг озарилась улыбкой, посветлела лицом, расцвела. Подняла оголенные руки, забрала в узел волосы, потянулась всем телом сладко и засмеялась. Голые руки, белые, полные.

– Гляди, какая она из постели. Мягкая... – зашептал Смольков.

Хозяйка увидела их в проеме окна, нахмурилась:

– Ну, чего вылупились, бесстыжие...

– Что-то колокол бьет. Думаем, может, беда стряслась, – пропел Смольков.

Хозяйка улыбнулась:

– Встречать зовет. Сударики наши, мужички плывут.

И опять засветилась тихой радостью. – Теперь в Коле праздники начнутся... – И спохватилась по-бабьи суматошно, скрылась в доме.

– Как это я не понял, что на благовест похоже, – сказал Смольков и обернулся к Андрею: – Смотреть пойдем?

– Пойдем, – согласился Андрей.

Взбудораженно просыпался город. Калитки хлопали, двери, лениво взлаивали собаки. Где-то потревоженно блеяли овцы и кудахтали куры. Улица наполнялась стуками, голосами. Бабы, старики, ребяташки здоровались на ходу, громко перебрасывались словами, спешили к крепости. Даже воздух, казалось Андрею, наполнился чувством людской общности, и это общее ликование поднимало в душе что-то необыкновенно радостное и прекрасное, как тогда, на верху горы.

Андрей и Смольков прошли крепостные ворота и стали на берегу, в сторонке, смотрели, как у причала шумно толпился народ. Многие одеты празднично, а кто в обносках. Событие волновало всех: одних ожиданием встречи с родными, других – возможностью пожить. Над вараками раннее солнце лило свет на залив, а на нем белели паруса судна. Коляне выбегали из крепости, присоединялись к тем, кто пришел раньше, вглядывались.

– Кир! – неслось. – Кир идет! Герасимовых шхуна вернулась! Нашлись голубчики наши! – И торопились дальше, на мыс, где сливались Тулома и Кола, шли к причалу.

Казалось, коляне едины в радостном ожидании, и ничто их больше не разделяет – ни чины, ни богатство, ни старые обиды, и, словно со стороны, Андрей увидел, как они со

Смольковым тоже нетерпеливо переминаются с ноги на ногу.
– Смотри, – толкнул Андрея Смольков.

Впереди, чуть ниже их, опираясь на трость, стоял старый Герасимов: прямой, сухой и широкий. В праздничной рясе к нему подошел священник, благословил его, поздравил с возвращением шхуны. Следом подходили богатые старики – поморы, ломали шапки, кланялись, заговаривали о Кире, посмеивались:

– Что, батюшка, теперь тебе хлопот будет – свадебки крутить? – И лукаво щурили глаза на солнце.

Тревожно смотрел на судно старый Герасимов. Жив ли сын и что приключилось с ним? Почему все это время не встречали его на Мурмане и в Архангельске? И беспокойно было на сердце. Вспомнилась своя полная риска молодость. Всю жизнь проработал на чужих судах, отказывал себе во всем, копил деньги на шхуну, но не хватило жизни, чтобы поплавать еще и на своем судне. Сын вот теперь...

Мимо пробегали коляне, здоровались – уважительно, как со старшей родней, и бежали дальше к причалу встречать родных и близких или что-то узнать о них. Широко раскинулись поморские селения по берегам северных морей, а не задерживались долго вести от сыновей и отцов, ушедших в плавание. Берегли поморы традиции дедов: передать домой весточку о сельчанах. Сидя в Коле, завсегда знал старый Герасимов, какие воды бороздит сын. И когда вдруг пропал Кир, то весь изболел душой: море обманчиво, беда всегда за

кормой ходит. Беспокойные сны тревожили.

А шхуна светила белыми парусами, подходила все ближе. И уже на бортах можно было узнать колян-матросов, а на самом носу шхуны стоял его Кир.

Радостно стучало сердце старого Герасимова: вернулся сын, жив-здоров. Но супил брови, не показывал радости, говорил, что, пожалуй, заслужил Кир розги.

– Э-э, – посмеивались старики. – Не грозись. Теперь уже не отхлещешь.

– Иди, встречай благословясь. Не терзай душу гневом, – сказал священник.

Все долгое плавание думал Кир про возвращение в Кола. Много раз представлял себе этот миг, и когда после Абрамовых гор показалась соборная церковь и матросы стали креститься, крепился еще Кир, не разрешал себе верить, что все позади. А потом, когда обогнули Еловый мыс, то внутри словно узел запутанный распустился.

Как жемчужинка в раковине, покоилась Кола. Блестела куполами церквей в утреннем свете, поднималась над заливом, смотрелась свежая и умытая в его воды. А кругом обступили город вараки, терлись горбами о небесную синеву, грели золотую щетину кустов на спине, нежились и дремали на солнце.

– Бом-м! Бом-м! Бом-м!

Кир слушал, как навстречу плыл приветственный звон, видел, как бежали из крепости люди, собираясь на берегу, на узком причале. Они кричали что-то радостное, и Кир хмелел от этого шума. Его подмывало выкинуть на глазах у всей Колы что-нибудь залихватское, показать свою удаль. И не будь он сейчас кормщиком, он бы забрался на конец брам-рея и, раскинув руки, кричал на весь залив так, чтоб эхо шло по варакам:

– При-ше-ол!..

Не беда, что отец будет грозиться розгами. Кир все равно

знает: отец им доволен.

Но сейчас Кир хозяин шхуны и кормщик. Он только пробрался на самый нос судна и оттуда махал рукой и орал что-то приветственное. Были в этом крике и радость возвращения, и упоение победой. Глаза его, кроме знакомой и будто бы чуть усохшей фигуры отца, которого он увидел прежде всего, искали в наплывавшей толпе еще одно, милое для него лицо. Оно ему каждую ночь снилось.

А шхуна уже подходила к причалу, заноса корму, становилась боком, плавно сокращала расстояние.

– Навались, други-и! – кричал Кир и сам схватил багор, уперся с радостной силой, почувствовал под руками, как шхуна мягко ткнулась в старые доски причала. – До-о-о-ма!

Шхуну еще крепили канатами, а Кир уже выпрыгнул на дощатую твердь, навстречу пестрой толпе: это сюда он вез свою победу, для этих людей, для Колы-города. На пропахшем рыбой причале, где сам когда-то мальчишкой встречал отца, люди смеялись и что-то рассказывали ему наперебой, обступили его десятками ласковых рук, счастливыми глазами, теплом улыбок. Они о чем-то спрашивали и совсем не требовали ответа. У Кира глаза застилала слезы. И он не стеснялся этих слез, сыновней любви и преданности городу и земле, вскормившим его. В памяти мелькнул сырой Петербург, неуютный Гаммерфест, по-немецки аккуратный Архангельск...

А в толпе уже пробиралась знакомая поморская шапка, и

из-под косматых бровей – родные выцветшие глаза. Толпа расступилась, и Кир, коснувшись рукой пропахшего рыбой причала, низко-низко, как и требовал обычай, поклонился отцу, честному народу, городу-крепости. Перекрестившись на лес церковных крестов и обняв отца, вдруг до боли ощутил знакомый запах своего дома, вспомнил, какое особое тепло в нем исходит от печки, где в долгие зимы слушал он страшные и захватывающие сказки. Вдруг вспомнил вкус домашней воды и голос реки Колы, по которому все коляне узнавали погоду, на миг закрыл глаза и услышал ее журчащий говор. Погоду она обещала хорошую. И Кир снова ощутил, теперь уже окончательно, что он стоит на Кольской земле, дома.

Вместе с отцом шел к крепостным воротам Кир, а за ними, окружив ликованием прибывших, направлялась в город шумная толпа колян. Выделялись прибывшие. В нарядных одеждах, счастливые. От них пахло морем, ветрами, вольницей и далекими странами.

Андрей глядел с восхищением.

– Крепкие ребята...

– Будешь крепким, – отозвался Смольков. – Работа тяжелая, зато чарка всегда вовремя. Вместо чая хлещут тресковый жир на ночь и утром. Уж я-то знаю...

На пригорке Герасимовы остановились, подошли к священнику. Кир смеялся. Большой, загорелый, с гарусной козынькой на крепкой шее.

– Благослови, отче...

Благочинный рассматривал Кира и матросов.

– По одежде вы теперь вроде бы немцы или англичане. Долго не было слуху о вас. Уж не в Англию ли ходили?

– Бери, батюшка, дальше! – смеялся Кир. – Что нам Англия?! Эка невидаль! В самый Санкт-Петербург поклон делали...

Толпа на мгновение притихла, а затем взволновалась и плотнее окружила священника и Герасимовых. Ссылных теснили в сторону. И они отходили, пятясь, лишние и чужие.

А Кир все оглядывался, искал кого-то в толпе.

– Чего ты? – спросил благочинный.

– Да так, – неопределенно ответил Кир.

Старый Герасимов прятал в глазах улыбку:

– То, что найти не можешь, за морошкой ушло. Ноне к вечеру должно быть...

Кир еще раз оглянулся и крикнул:

– Тетка Матрена! Не дашь ли дом под вечерку?

Дородная колянка, обличьем еще молодая, польщенная вниманием, приосанилась:

– Аль таким молодцам откажешь что?

И, вскинув голову, скрестила руки, подперев груди, улыбчиво смотрела на Кира.

– Ловкий, видать, парень, – хмыкнул Смольков. – Не зря баба-то глазами, ровно голодный на барской кухне. Так бы и слопала его.

– Эй, зуйки, кто всех ловчее? – Серебряная монета блеснула в воздухе из рук Кира.

Табунок мальчишек ожил, проглотил монету, пошевелился клубком пыли и вытолкнул из себя удачника. Портки на лямке через плечо, ноги босые, от грязи черные.

– Ходил стукальщиком? – спросил Кир.

Малец засунул сжатый кулак в карман.

– А то нет...

– Тогда знаешь, куда идти. Скажешь: просит-де Кир Герасимов к тетке Матрене на вечерку пожаловать...

– Дома ведь место не обогрел, – старый Герасимов развел руками.

– Ух, стосковался я по нашим вечёркам! – Кир обнял отца за плечо. – Сплясать страсть как охота!

Первое лето самостоятельно возил Кир хлеб из Архангельска в Норвегию и на Мурман, ходил за моржами на Новую Землю, на Колгуев за птичьим пухом, на Онегу за досками, в Соловецкий монастырь с богомольцами. Грузом он не гнушался. Но главным была рыба. И он торопился к сроку на Терский берег за семгой, на Карельский – за сельдями, на Мурман – за треской и палтусом. В разгар лова Архангельск, как прорва, поглощал и поглощал тысячи пудов рыбы, пока не наступала отрыжка.

Кто первый делал привоз, успевал продать хорошо. Коммерсанты с готовностью перекупали рыбу и наскоро отправляли ее из города. Но чем больше привозили рыбы с Мурманана, тем разборчивее становились перекупщики. Холодные погреба-ледники были переполнены рыбой. Подводы, барки, карбасы – все то, что могло увезти рыбу сухим или водным путем в глубь России, было загружено, находилось в пути. Желающие продать бегали в поте лица. Плохо засоленная рыба портилась. В огромном порту воздух был удушлив. Цены с каждым днем падали. И тогда не раз бывало, что Немецкая слобода – английские торговые дома – за бесценок скупала все, что ушло от ее рук на промысле. Английские купцы прятали рыбу в свои бездонные подвалы, и она лежала до зимы, а потом продавалась в несколько раз дороже, с лихвой

окупая затраты на пересолку, хранение и хлопоты.

Опоздание с продажей было разорением для поморов. Каторжный труд шел насмарку. Семьи обрекались на голод до следующего сезона.

Хозяева судов понимали, что падение цен на рыбу идет от большого беспошлинного ее подвоза в Архангельск иностранцами, в основном норвегами. А конкуренция с ними была не по силам. Немецкую слободу из Архангельска не уберешь.

Осенью, ставя шхуну на зимовку, Кир расплатился с командой и подсчитал барыши. Прибыль была невелика. Почти то же самое он мог получить за службу на иностранном судне, без лишних тревог, без риска разориться.

Основной доход Кир получал от рыбы. Но вместе с ним рыбу в Архангельск везли еще сотни поморских судов, и главное – иностранцы. Англичане на больших судах скупали рыбу в Норвегии и на Мурмане и везли в Архангельск. Рейс есть рейс, и от того, как быстро обернешься с Мурманана, сколько и какой привезешь рыбы, зависят барыши. Эх, если б не было иностранцев! Если б только русские привозили рыбу! Тогда поморы не зависели бы так от перекупщиков, что отправляли рыбу в Петербург сухим путем...

А что, если?.. И мелькнувшая мысль обдала жаром. Слышано, ли такое? Чтобы морем да в столицу?! Даже англичане не делают этого. Да, может, это им ни к чему. Они хорошо загибают и здесь! Зачем им Петербург?

В портовом кабачке Кир встретил однокашника из Кеми. Тот лето проплавал у англичанина. Ходил в Лондон и Гамбург, возил груз в Архангельск. Был он важен, хвастал жалованьем, привольной жизнью, носил тройку из тонкого сукна, за столом то и дело поглядывал на часы, громко щелкал серебряной крышкой. Кир был ему рад, слушал его внимательно, но не шик занимал его. Словно ненароком расспрашивал он про подробности рейса, про ветры и течения, про берега и пресную воду, про то, куда что возили и где что сколько стоит. И постепенно догадка перерастала в планы.

Зиму Кир провел в Коле. На вечёрки ходил редко, больше сидел дома. Читал или писал, помогал отцу по хозяйству. С каждой почтой получал и отправлял письма в Архангельск и Петербург, разыскивал однокашников, кто пристал к коммерческому миру, – признавал про торговлю. Его интересовали цены на рыбу, соль, пушнину и хлеб в разные времена года за все последнее десятилетие. Отец исподволь наблюдал за сыном, радовался, что дело его увлекло, про себя посмеивался уважительно: «Ишь ты, не только помор-мореход – коммерческий человек растет, купец!» О замыслах сына он не догадывался, а Кир молчал. Выписал себе книги по коммерции и тщательно изучал их, стараясь постигнуть хитрости торгового ремесла. И хоть с осени все было готово на шхуне, задолго до навигации собрался в Архангельск: «Поеду я, отец. Чтобы летом простою не было, надо побеспокоиться. Опыту мало, как бы не упустить чего». Отец не воз-

ражал. «Значит, забота гонит», – похвалил про себя.

В Архангельске Кир разговаривал с купцами, приказчиками, обозными ямщиками и все выспрашивал, выспрашивал, сопоставлял разговоры и факты, проверял свои планы еще и еще раз. При случае приглядывался к новым иностранным судам.

За лето Кир опять изборозил Белое, Баренцево и Печорское моря. В портах не задерживался. Его шхуна не знала простоя. Он никому не сказал о цели похода. «Знай не проболтаются», – думал Кир. Команда узнала новость далеко от берега. С тех пор и потеряли шхуну Кира... Его ожидали в Архангельске, спрашивали на Мурмане, но Кир словно в воду канул. Многие предполагали худое, но больших штормов давно не было. А дни шли, шхуна не появлялась, и все терялись в догадках. И вдруг, вместо того чтобы быть на Архангельской ярмарке, Кир появился на Мурмане с новым грузом. Из Петербурга!

Повезло Киру. Он пришел в столицу и не только успешно продал рыбу и выгодно закупил хлеб нового урожая и соль. Доход настолько превысил его ожидания, что можно было думать о постройке нового судна не через год-два, а уже ныне. И это как раз к делу: впредь для такого плавания потребуются иная шхуна. Корабль нужен крепкий, на ходу легкий, с просторными трюмами.

В Петербургском порту Кир нашел время поосновательнее приглядеться к иностранным судам. С некоторыми шки-

перами завел знакомство, угощал в ресторации, сам побывал у них в гостях, глядел, шупал, расспрашивал.

Часами находился Кир у причалов. Вспоминалось не раз ему, как мальчишкой еще, словно зачарованный, смотрел с приятелями на работу старого корабельного мастера, который под хохот колян начертил у кабака прутиком на снегу лекала будущего судна да так, на спор и смех, сколотил его за зиму по этим лекалам. Удивляя весь берег, старик ходил на нем несколько лет в Норвегию и Архангельск, пока не настигла в пути непогода...

Не мудрствуя строили суда в Поморье. И лесу хватало, и мастера были преотличные, да заказчики-то привыкли строить по старинке. Брали при постройке судна ширину на пять-шесть вершков шире трети длины, а половину ширины – для высоты трюма. Вот и вся корабельная наука. Остальное – как на ум падет... Поэтому и лоды поморские на ходу тяжелы, неповоротливы, а коль в большой шторм попадут – уповай на бога, авось смилостивится!

Все это Кир понимал еще в училище, но когда пытался высказывать свои мысли, поморы только посмеивались: “Нам в чужие моря не ходить. А у себя на Севере мы везде дома, пройдем на этих получше англичан твоих...”

Теперь Кир нагляделся на разные корабли, знал, что ему нужно. За хорошую плату приобрел в Петербурге, кроме карт на обратную дорогу, чертежи превосходного судна. Про себя загадал: «Коль доберусь до дому благополучно – стро-

ить начну сейгод. Чтоб к весне быть готову».

Удача сопутствовала Киру. А он хотел бы ее разделить на Колу. Чтобы не только он, а и коляне ходили вместе с ним в Петербург. И не по одному разу! Но первый и самый большой куш, конечно же, ему, Киру Герасимову. На том и стоит купеческий мир, главная заповедь – не зевай!

Но Кир понимал и другое. Ему просто могло пофартить. Неведомо еще, каким будет обратный рейс. Фарватеры сложные, особенно в датских водах, совсем незнакомы для кольских поморов, и риск повсюду будет еще немалый. Но главное было доказано: можно возить северные товары в столицу, минуя архангельских перекупщиков и иностранцев. Кир как бы воочию видел перемены в коммерческой жизни Мурманна: увеличение доходов местных купцов и промышленников, оживление промыслов и, что радовало особенно, возможность основательно потеснить иностранные торговые дома и их судовладельцев, что сегодня держали в своих руках мурманскую торговлю.

Почти целый день не умолкал колокол. Подходили и Кольской крепости юркие шняки и раньшины, тяжелые лодьи и легкие на ходу шхуны: с промысла возвращались поморы. Загорелые под незаходящим солнцем, просоленные ветрами, возвращались довольные: осталось позади трудовое лето.

Ссылные вернулись на сеновал подавленные увиденным. Голодные, ждали хозяйку, лежали молча. На сеновале было полутемно. Внизу мерно жевали коровы. Пахло навозом, теплом от скотины, деревней. Андрей вспомнил, как стояли на берегу. Хоть и люди кругом, а они одни оказались. Как в лесу, когда в бегах был. Будто никого рядом. Хоть волком с тоски завой. И сейчас еще худо было. Не видел он встреч подобных, не знал, что может быть такой праздник. И зависть брала: ему бы вот так вернуться! Чтоб его так вот ждали, с берега имя его выкрикивали, шапками бы махали...

И вспомнилась мать. Провожая его в солдаты, стояла она за околицей заплаканная, старенькая, худая. Так и не смог увидеть ее еще. Не дождалась. Да и где дождешься? Служить двадцать пять лет – почитай, всю жизнь. А она и года не прожила... Потом вспомнились казарма, обучение ружейным приемам, ненавистное лицо унтера, шагистика, битье кулаками в лицо и первый побег, жгучая боль от спиц-

рутенев, глухая злоба в душе и снова побег...

Смольков на сене пошевелился, обернулся к Андрею и сказал:

– У них тут обычай: как вернуться домой все, так поморы в кабак. Нам тоже бы туда надо. Для знакомства самое лучшее. Пьяный, он тебе все расскажет...

А Андрею вспомнился Кир. Счастливый. Андрею, наверно, ровесник. На вечерку пойдет. Не какой-то там ссыльный, а вольный, богатый, в родной дом вернулся. Вспомнилась Нюшка и ее приглашение. В памяти всплыли озорные ее глаза, улыбка. Мечталось сладко. А ведь родился он вольным, мог быть не хуже Кира...

Смольков приподнялся на локте, глядя на Андрея, спросил шепотом:

– Слышь, что ли?

Ответил, кусая соломинку, зло глядя в глаза Смолькова:

– Не глухой, слышу...

Гошка мчался домой во всю прыть: работа стукальщика почетная, ею дорожить надо. На ходу соображал: у причала все едино расходятся, там поживиться нечем. Филька конопатый зря проторчит. А Гошка, коль удачно справится, будет и впредь стукальщиком бегать.

В кулаке монета вспотела. Интересно, сколько за нее свинца дать могут? У Фильки самая большая бабка-панок свинцом залита. Как бы ни проигрался Филька – панок всегда выручит. Выиграет панком у ребят и раздаст им же в долг. Они и ходят за ним послушные.

Дома Гошка пролетел в сарай, взмыл на сеновал. За стропилиной лежало Гошкино богатство: три деньги медные, шесть английских крючков рыболовных и две пули свинцовые. Разжал кулак, разглядел монету, на зуб попробовал – настоящая вроде бы. Все вместе завернул в лоскут, за стропилу сунул. Ну погоди, конопатый! Теперь и Гошка зальет свинцом не один панок. Посмотрим тогда, чья возьмет. Припомнятся Фильке и бабки, и репка у Лоушкиных.

Гошка кубарем скатился с сеновала, отыскал черенок от старых грабель: черенок гладкий, долгий и легкий. Стукать им легко будет. Отвязал с привязи Жучку, свистнул и выскок за ворота. Податься решил на край города, оттуда начать. По улице бежал легко, вприпрыжку, опираясь на палку, по-

свистывал. Как закончит стучать, сходит прямо к Герасимовым, расскажет Киру, как все исполнено. Может, Кир и будет ему еще что давать – его воля, но Гошка откажется. Он ведь не Филька, ему даровое не требуется.

У дома Лоушкиных Гошка остановился. Жила тут девушка Нюша, добрая и улыбочивая, зуйкам всегда что-нибудь дарит. Но вчера ушло несколько шняк на Рыбачий, к царскому столу собирать морошку. Она тоже уехала. Гошка постоял в нерешительности: вдруг вернется? Обойти ее приглашением – грех. Она девушка сирота. Живет с бабушкой да дядьями. Мать с отцом ее, дед, жена дяди ее, Никиты, шли на шняке с ярмарки из Архангельска да пропали без вести в бурю. Давно, люди сказывали, то было, но в доме Гошкином это и нынче хорошо помнят, хотя сам он тогда, наверное, еще без штанов бегал. А теперь... Гошка в досадливом нетерпении почесал ногой ногу. Крали они намедни репу в огороде у Лоушкиных, да заприметили их. И хотя убежали они, Гошку могли и признать сейчас. А все Филька. Он и лаз в заплоте проделал, хотя Гошка всем тогда говорил: не надо к Лоушкиным ходить.

Уважением они большим пользуются. Братья все по железу пошли – кузню держат. Сказывают, от деда научены. Он у самого Емельяна Пугачева оружие ковал. Гошкин дед тоже с Пугачевым хаживал, за что и попал в Колу. Теперь их дома вроде б сродни значатся. И поэтому тоже не хотел Гошка к ним по репу идти, да Филька подбил всех. А от всех-то разве

отстанешь?

Приплясывая от досады, Гошка побегал вдоль дома, поглядывая на окна: эка беда навалилась! Будь сама дома, бросил бы камешек в светелошное окошко – и дело сделано. А теперь как быть?

В заборе поискал щелку – заглянуть бы куда! Из-за ограды слышны взвизги пилы и посвист рубанка. Ладят, видать, что-то. Гошка позвякал щеколдой на калитке – из ограды лай громкий, будто из пустой бочки. Жучка, поджав хвост, от ворот попятилась. Гошка постоял еще, погрыз ногти и решился стучать в окно.

Дом у Лоушкиных с подклетью, окна высоко, не сразу палкой дотянешься. Не разбить бы стекло случаем. Дотянулся и постучал в резной наличник раз, подождал. – И еще раз, громче и настойчивее.

Занавески раздвинулись, распахнулись наружу створки, и в окно выглянула старуха, мать братьев Лоушкиных.

В белом повойнике. Все в морщинах лицо кажется черным. Старенькая мать у Лоушкиных. Смотрит на Гошку подслеповатыми глазами, будто силится разглядеть. Кто-то неторопливо открывал запор на воротах, гремел щеколдой.

Гошка подумал, что, пожалуй, ему пора уносить ноги.

– Чего, соколик, тут стучаешь? – спросила старуха.

Гошка шапку долой, поклонился и, желая быстро разделаться, выпалил:

– Кир Игнатьевич, сын Герасимова, на вечерку к тетке

Матрене зовет... – А сам на калитку поглядывал: успеть бы уйти, пока не вышел из мужиков кто.

Лицо у старухи собралось в морщины еще гуще. В провале рта открылся единственный зуб, смех задрезжал весело:

– Ох, милай, пошла бы я, да внучатка узнает – поди, осердится...

– Я не вас зову, – испугался Гошка.

– Не меня? – удивилась старуха. – А кого же?

– Внучатку вашу.

– А-а, Нюшку, стало быть?

– Ее, ее, – подтвердил Гошка.

– Смотри-ка, прошла во мне надобность. Отказывают.

Нешто так можно?

Калитка открылась, и Гошка обмер: старший брат Лоушкиных, дядя Никита. Лицо от работы красное, ворот рубахи расстегнут. Вытирает ладонью шею потную, рукава по локоть закатаны, а ручищи что слезы. Не дай бог, узнает! Гошка отступил на шаг и, держась за палку, поклонился молча. Как себя вести на людях, он знал твердо: речь со старшими первому не заводить, в разговоре шапку снимать и говорить почтительно. Не то и уши нарвать могут, да еще и отцу пожалуются: неуважительный-де сын к старшим. А отец в первую же субботу недостаток розгами исправлять начнет.

– С чем, купец, пожаловал? – спросил Лоушкин.

И смотрит на Гошку так это пристально.

Гошка все сообразил мигом и, на всякий случай, покло-

нился еще раз: пронеси господи!

– Приглашение на вечерицу. Кир Герасимов просит к тетке Матрене пожаловать...

Лицо у Лоушкина подобрело, взгляд стал мягче.

– Так-так. Герасимов, говоришь? Добро. – А сам все Гошку разглядывает. – Что-то я тебя, Гошка, давно на нашей улице не видел. – И уже улыбается. – В гости что-то не заходишь?

И Гошка мог поклясться, что слышал, как сердце его перестало биться и быстро-быстро стало проваливаться куда-то вниз, наверно в пятки. Захотелось дать стрекача. Не успел. В окне опять появилась старуха, поправила головной платок, позвала:

– Слышь-ко, пострел! Нюшки-то сейчас дома нет. А ежели явится к вечеру, так непременно будет... А тебе на-тко вот, за службу... – И бросила Гошке пряник архангельский, заливной, настоящий.

Гошка поймал его на лету и оглянулся на калитку: что-то еще дядя Никита скажет? Но старуха в окне скомандовала:

– Ступай, не мешкай. И другим, поди, стукать надо.

Гошка поклонился еще раз и, чтоб миновать калитку, побежал в другую сторону не оглядываясь. Пронесло, думал, а страхов-то натерпелся! Ну погоди, конопатый! Залью панок – получишь ты у меня!

После бани, распаренный, утомленный, Кир прилег в большой горнице на диван, с наслаждением вытянул ноги. Хорошо дома: тихо, чисто, привычно. Даже закрыв глаза, Кир знал: здесь все осталось как в детстве. Застланный домотканой скатертью стол окружали те же тяжелые стулья. Такие же цветы и такие же, только новые, ситцевые занавески на окнах. У низких и расписных дверей в горницу застекленная горка с норвежской посудой, а за ней в углу лаз на теплую лежанку. Там любил спать дед...

Мысли в полудреме текли туманные и приятные, навевали воспоминания. Кир с давних пор помнит эту широкую и удобную русскую печь. Когда-то она была не такой, и дед ее перекладывал. Было много готовой глины, они с Нюшкой, играя, мешали деду. С тех пор все осталось как было. Лишь Кир изменился. А Нюшка? Изменилась? Пока Кир не ходил на промысел, они росли вместе. Зимой катались с Солова-раки, летом у Туломы по отливу ловили мойву, пекли у костра на прутьях. Да что там! И детство проводили, и молодость начинали вместе. Плясал с ней Кир на вечёрках, дух захватывало. По тому, как вспыхивали глаза и заливал щеки румянец, догадывался, что и он ей люб. Чужая, как колотится сердце, просился Кир на беседу к Нюшке. Не сильно противилась она домоганиям, да любовь их недолго длилась. Зва-

ли Кира дела в Архангельск. Так и уехал, не сумев как следует проститься.

Теперь для Кира мойва – наживка для промысла. Начало затеи. Если с ней устроится – остальное легко. А наживки там – море. Ставь заборы и черпай. Ох, нет, легко не будет. Нужны суда для развозки, нужно, чтоб люди пошли на артельные начала. Нужно многое. И все же корень в наживке, вернее – в земле. Девкина заводь. Все теперь на той стороне, за кордоном. А если там устроить бы соляные склады и снабжать весь Мурманский берег дешевой солью! Все было б как в сказке. Сколько их Кир переслушал на этой лежанке грустных, веселых, страшных!

На дворе сырой холод, дед забирается на лежанку, греть застуженные в морях кости, и Кир просится к деду послушать сказку. На печи темнота, пахнут зверем мохнатые шкуры, тепло. В тишине звонко падают редкие капли из ручкомойника. Кир таращит глаза в темноту, в наплывающие цветные круги и, замирая от восхищения и страха, идет за голосом деда.

Волшебностью сказка похожа на сон. Кир живет в ней, все видит и слышит, но не может сделать что-то по-своему. Сказка может исчезнуть.

А голос уже не принадлежит деду. Он сам, как сказка, уходит вдаль и ведет за собою Кира. Кир видит, как идут изгнанные с земли люди. Он слышит их голоса отчаяния, горя. Стелется едкий дым, горят рыбацьи дома и шняки. Падая с

горящих церквей, стонут колокола. Идут в плаче люди. Нет у них больше моря, земли, божьего храма. Нет того, что называется домом. Враги сравнивают с землей могилы их предков: они хотят убить память. Киру становится страшно. Он прижимается к деду, ему хочется крикнуть: «Не надо!» И только боязнь, что сказка исчезнет, заставляет его молчать. Из рукомойника падают звонкие капли. Но это дома.

А в сказке – катится карета, сидит в ней Сквалыга сжимает куль золота за проданную землю. Сияет лицо исправника, сияет мундир придворного со светлыми пуговками. Трясет по дороге карету, слушает Сквалыга звон золота. И не видит он – вокруг водят хоровод, справляют торжество черти. Но их видит дед и показывает Киру каждого черта. Кир сжимается и льнет к деду, зная: коль дошло до чертей, страхи еще не кончились. Замирая, он следит за Сквалыгой, которому не терпится увидеть чарующий блеск золота. Сквалыга запирается у себя в доме и дрожащими от нетерпения руками развязывает куль... Только сверху лежит несколько золотых монет, а весь куль наполнен битыми черепками!..

И Киру уже не страшно смотреть на чертей, которые, строя рожи, корчатся от беззвучного хохота, торжествуя победу, бьют кочергами в заслонки, чугушки, вьюшки. Звучит бесовская музыка. И Сквалыга слышит ее. Она звучит для него призывно, и, подчиняясь ей, он пускается в страшную пляску: дико мечется он по дому, орет и воеет, ошалело катается, задыхаясь, бьется в судорогах об пол и, наконец, по-

слушно сует голову в поданную чертями веревку...

Подрастая, Кир не раз еще слушал эту сказку про Сквалыгу и проданную землю. А однажды на пути в Норвегию увидел ту землю воочию. Долго смотрел, не отрывая глаз.

Или той дымкой сказочной таинственности, которой она была окутана еще с детства, или еще чем-то другим неведомым, но и потом, когда бы Кир ни шел морем мимо, земля та манила его к себе, казалась издалека печальной, одинокой, заброшенной, словно жаловалась ему, что прошла ее молодость пустоцветом.

Но теперь по дороге из Санкт-Петербурга Кир стоял на этой земле. Он ходил по ней широко, по-хозяйски. Сердце было полно щемящей радости возможного свершения. И хотелось утешить землю. «Подожди, – шептал он. – Ты подожди еще малость. Тебя снова вспомнят...» – И ходил, и смотрел, и прикидывал, где бы стали рыбные и соляные амбары, где бы раскинулось становище, а потом, может быть, и селенье большое, город. Кто знает?! Ведь и в Коле кто-то был первым!

– Проснись, герой! – слышит Кир. Кто-то сильно толкает в бок, Кир просыпается.

В комнате отец, благочинный, соседка Фекла и ее дочь Граня.

– Рассказывай, что приснилось, – сбудется, – смеется благочинный.

Кир сел на диване, потянулся всласть, с хрустом:

– Детство виделось. Ох, и хорошо там!..

Тетка Фекла согнулась в поклоне:

– С благополучным прибытием, Кир Игнатыч...

Граня стрельнула по Киру восхищенно глазами, поклонилась следом за матерью. Кир вспомнил, что привез подарки и Гране и тетке Фекле. Подмигнул Гране, и она смутилась, опустила глаза.

– Наделал ты переполоху! В Коле только и разговоров, что о тебе, – благочинный похохатывает, потирает руки. Голос у него раскатистый, зычный. – Судно будешь новое строить или как?

Кир смотрел, как Граня помогала накрывать на стол, носила из кухни снедь. За складками сарафана угадывалось тело молодое, упругое.

– Отчего не строить? Капитал есть. Только что я один? Одного судна мало теперь...

– Сколько же надо?

– Десяток бы...

– Сколь?!

– Десяток бы.

– Эх, куда маханул!

Отец суетился, торопил благочинного начинать молебен.

Он поглядывал на Кира счастливыми глазами и все одергивал на себе красную под белым шелковым пояском рубаху.

Благочинный прошел в передний угол к божнице. За ним последовали отец, тетка Фекла и Граня. Благодарственный начинался молебен.

Кир стоял позади, наблюдал, как усердно молится отец, как смиренно шепчет молитву Граня. Ему стало вдруг весело, захотелось спрочаизничать. Протянул руку и щипнул Граню за тугой бок. Граня отпрянула испуганно, оглянулась опасливо на старших. Богохульства не заметили. Кир подмигнул ей призывно и заговорщицки, и Граня покосилась на него, осуждающе качнула головой. А в краешке глаз чуть мелькнула улыбка.

Многолетием заканчивал благочинный.

Отец чинно, торжественно стал приглашать к столу. На столе – лучшие припасы, что обычно берегли в доме для дорогих гостей или великого праздника. Дары морские соленые, копченые, жареные, вареные, что умели готовить колянки вкусно, были на столе, как и полагалось на празднике, в изобилии.

Благочинный в отличном духе оглядывал стол.

– Ну, расскажи, расскажи, где бывал, что нового по свету, как надумал в столицу попасть и что за город она...

Благочинный был другом отца. Сколько помнит Кир, собирались они по вечерам на чашку чая или поиграть в карты, толковали о делах поморских, о происшествиях в Новом Свете, в Греции, во Франции и у англичан. Был благочинный начитан, до новостей жаден. В доме обычно вел себя как человек мирской, до споров охочий. Отец разливал по стаканам ром дорогой, норвежский. Благочинный шутил:

– Лей, Игнат Василич, полнее, чтоб креститься перед чем было...

Кир от норвежского рома отказался, попросил:

– Мне бы пшеничной...

– Аль не уважаешь заграничное? – рокотал благочинный.

– Не уважаю, – сказал Кир. – Кругом оно с детства, обрыдло уже.

Благочинный насторожился:

– Это что же заграничное тебе обрыдло?

– А все, – отмахнулся Кир. – Вот посуда, вино, сукна, снасти...

Благочинный изучающе смотрел на Кира, начал было осуждающе, поучительно:

– Гордыня – грех великий...

Но отец поднял стакан, перебил просительно:

– Потом, потом, отец Иоанн...

Он смотрел на Кира восторженно, с умилением:

– С возвращением тебя, сынок! С удачей! Утешил меня на старости. Уж как я рад... Как рад! – Выцветшие глаза отца подернулись влагой. Рука со стаканом дрогнула. – Вся Кола тебя по отчеству величает. Заслужил. И я хвалю. Спасибо, утешил...

Звякнули над столом протянутые стаканы. И пока пил Кир, снова подумал, что вот только нынче заметил, как осунулся, постарел отец. Кольнула жалость: “Морей ему уже не видать”. Благодичинный занес вилку над столом и оглядывал семгу паровую и просольную, все решался, что лучше поддеть.

– Нам без иноземцев нельзя. Не будь их, крючка рыболовного на ярус взять негде. А их, почитай, в одной Коле тыщ двести на год иметь надо...

Кир пережевывал сельдь, сдобренную луком, перцем, уксусом. Мясо нежное, жирное. Славно отец солить умеет. Таковую бы на продажу в столице. Можно б не только на Сенной площади торговать. Прибыль...

Благодичинный мазал на кусок пирога кашку семужью, рассуждал:

– Навык у тех же англичан в торговле и мореплавании вековой. Люди они ума торгового...

Кир поглядывал на благодичинного, думал: «Надо бы тебе знать, батюшка, не зук я уже». А вслух сказал:

– Англичане и вправду моряки отменные. Но если смот-

реть тут, на Севере, так и паруса, и канаты, и смола у них – наши. Корабли из нашего леса, да и рыбкой они нашей же кормятся. А коль при этом они и моряки добрые, то нам-то уж грех отставать.

Отец трепал по плечу Кира, заглядывал в глаза:

– Так, сынок! Не одним иноземцам добрыми моряками слыть да впереди быть.

Женщины собрались на кухню. Киру не хотелось, чтоб уходила Граня. Нравилось ловить врасплох ее взгляд, смотреть, как она смущается, и краснеет, и сердится на себя за это. Но разговор зашел самый нужный – иностранцы. Их манера вести себя раздражала многих колян: садятся вечно без приглашения, первыми снисходительно суют руку. Да и не в обхождении дело. Главное – везде успевают поместить свой капитал. И Киру пора говорить о деле. И что благочинный тут – даже лучше. В мелочах всё можно обсудить потом, но главное – лучше сейчас. С обоими сразу.

Кир смотрел, как уходит Граня, думал, как поразит стариков открытием. И прослушал, о чем за столом говорили. А когда очнулся, благочинный досказывал:

– ...и жалуются: когда-де приходят в Архангельск, то другие уже побывали там или скоро придут с таким же грузом. Купцы, видя, что их много, предлагают плату за рыбу что ни на есть самую низкую.

Кир усмехнулся про себя: «Отстаешь, батюшка, не там корень ищешь. И я так прошлый год думал, да вырос из этого,

как из ребячьих портков. А ты все еще на старом топчешься...» И, когда закончил благочинный, вставил свое:

– Архангельские купцы, отец Иоанн, против наших поморов не в лучшем положении. Все места первейшие заняты иностранцами. Русскому купцу осталось только приготовление съестных припасов для городских жителей. Но погодите, скоро и это заберут у них.

Благочинный согласно кивнул, развел руками:

– А что поделаешь? У них деньги, у них сила...

Голос у него усталый, вежливый. «Обиделся, – подумал Кир. – Ох, эта мне покорная житейская мудрость». Сказал напористо:

– Сделать все можно. Сегодня мурманский промысел не дает и десятой доли улова, который мог бы давать. И то мы не умеем его продать. А можно и рыбы добывать побольше, и продавать ее дороже...

Благочинный откинулся на спинку стула, опустил веки, произнес равнодушно и лениво:

– Интересно...

Явное пренебрежение задело Кира, и он вспылил:

– Сделать, как у соседей в Норвегии: собрать из колян компанию. – И смотрел, как подействовало сказанное.

Отец задумчиво улыбался:

– Об этом, Кирушка, многие умные головы думали. Умнее наших, с капиталом.

Благочинный с затаенной снисходительностью спросил:

– К иноземцам таки на выучку?

– Таковую выучку зазорной не считаю...

– Для компании, Кирушка, нужны деньги. Много денег.

А в Коле даже в купцы второй гильдии нет людей писаться.

– И не надо, отец, не надо, – с жаром убеждал Кир. – Пусть это будет не компания, а артель. В нее пойдут с тем, у кого что есть: шняки, яруса, свои руки. Отсюда и паевые.

Отец перебил мягко, но решительно:

– Не пойдет, Кирушка, артельное дело на Мурмане. Если коляне станут в компанию, то англичане бросят такой капитал, что разорят и артель и поморов. Да еще и вражду меж нами посеют.

Благочинный поднял руку с растопыренной пятерней, сжал пальцы в кулак:

– Народ, он знаешь как устроен? Только курица гребет в сторону.

Но разговор только подходил к цели, и возражения у Кира были.

– В Норвегии, у соседей, многие суда принадлежат пайщикам. Даже в богатой Англии треть судов ходит от компаний. У нас народ тоже знаком с артельными началами. Работают же в порту, при разгрузке судов, и дело идет успешно, артели живут...

Отец согласно кивал головой, но весь его вид говорил: давно все это известно.

– Э-э, Кирушка, придумать что-то без сучка и задорин-

ки – не труд. Попробуй других заставить в это поверить. По-мор по своему нутру не купец-предприниматель. Ему знако-мо и сподручно рисковать на промысле, в море. Но пойти на риск в коммерции. . . Тут он сначала подумает: а если неуда-ча? чем он будет кормить семью до следующего года? Всяк знает: даст бог рыбу, даст и хлеб, а если нет?

Было у Кира в запасе одно известие. Узнал о нем в столице и даже бумагой такой запасася. Известие важное. За ним и поход в Петербург виделся по-другому. Чувствуя весомость слов, сказал:

– Сейгод вышел закон о беспошлинном ввозе соли на Мурман. . .

Известие было неожиданным и значимым. Многое стояло за ним, а хорошего не сулило. Соль на Мурман везли купцы. Теперь закон освободит их из-под контроля таможи, развя-жет руки на Мурмане.

– Ловко! – хмыкнул благочинный.

Отец, что-то соображая, молчал. Наступило главное, ре-шающее, и Кир собрался: «Ну, подошли. Ужо порасскажу вам». И, радуясь возможности высказаться, заторопился, без передышки выкладывал, что было задумано и в мечтах пе-режито.

– Если устроить в Девкиной заводи соляные и рыбные ам-бары, туда можно возить из столицы дешевую соль для всего Мурмана. А если коляне пойдут в артель, то это сулит мно-гое: дальние становища можно забросить, а рыбу промыш-

лять рядом с Девкиной заводью. Промысел поделить: одни будут добывать и разводить наживку, другие промыслять и солить рыбу, а третьи – возить ее на продажу. Но не только в Архангельск, а и в столицу. Обратное же вместо балласта – соль и другие товары. А кто имеет здесь соль в достатке, может влиять на всю торговлю в округе.

Это был ответ благочинному на его: «А что поделаешь?». Это был выход, как считал Кир, осуществимый. Любой мало-мальски разбирающийся помор должен увидеть выгоду. Осталось лишь дать старикам время на раздумье. И, загибая пальцы по ходу речи, Кир завершил:

– Для всего этого нужна земля у Девкиной заводи, желание колян на артель и большие суда. Они враз дадут прибыль...

Кир был доволен, не перебили его. Нападок больше не предвиделось. Торжествуя, смотрел он на благочинного, спрашивал взглядом: «Ну, каково?».

Однако благочинный вызова не принял. Равнодушно постукивал пальцами по столу, безучастно смотрел куда-то поверх Кира. Казалось, он совершенно забыл о споре.

Отец задумчиво разглядывал ложку, ковырял ногтем рисунок. Ноготь, большой, плоский и крепкий, расточительно соскабливал позолоту, оголял деревянную мякоть. Киру казалось, что все им сказанное не достигло цели, уперлось во что-то неведомое. Где, что он недосказал? И, словно выплескивая накопившееся на душе, загорячился:

– Скоро и на Мурмане иностранцы все запрудят. Дыхнуть будет нельзя, как в Архангельске. Куда ни глянь – иностранные товары, фирмы, торговые дома, порядки. Даже губернатор, и тот иностранец...

Благочинный поморщился досадливо и сердито:

– Эх, понесло тебя, расписал как все гладко!

– А тогда были бы мы хозяевами на Мурмане.

Отец как бы очнулся, посуровел:

– Ты, Кирушка, не веди такие разговоры в доме. Власть не трогай. Она сама по себе. И про землю у Девкиной заводи думу выкинь. Не наша она. – И мягко тронул его за плечо: – Вот про судно дело говоришь. Судно мы с тобой будем строить...

Кир вдруг почувствовал бережное отношение к себе и в то же время решительное сопротивление главным своим замыслам. Раньше думал – отец поймет с полуслова, согласится с его намереньем, а он, Кир, будет рассказывать подробности: кто напишет в столицу прошение о земле (и пусть лучше отвезет его Кир), какие нужны суда и амбары, где их лучше всего строить и во что все обойдется. У него были подсчитаны цифры предполагаемых расходов и ожидаемой прибыли. Он обдумал уже, с кем из поморов говорить об артельных началах, как лучше заручиться их согласием, чтоб каждый и денег наскреб. Он сжился с этими мыслями. Упорное нежелание стариков понять его вызывало досаду и настраивало воинственно:

– Граница передвигается, а земля остается. И ты, отец, лучше меня знаешь, что она – наша. А что продали ее, как рыбу на торгах, так это вся Кола знает – незаконно. Если пробиться к государю и рассказать...

Благочинный усмехнулся неприятной, жирной усмешкой.

– Сходи, расскажи. Исправник вздует – в отхожем месте только и сможешь присесть.

Кир поднял на него глаза:

– Я хоть и не дворянин, но и не крепостным родился.

У нас тут и море, и торговля, и предпринимательство – вольные.

– Это, Кирушка, не значит, что можно супротив власти идти.

– Я, отец, не иду. Думаю, государю тоже в радость, чтобы флот наш на Севере из каботажного рос в большой, коммерческий, для дальних плаваний.

Но благочинный опять вмешался, всезнающий, опытный:

– И плавай себе на здоровье. А про землю у Девкиной заводи, верно тебе советуют, – забудь.

Кир чувствовал, как поднимается в нем гнев, сказал жестко:

– Та земля отцам нашим не особо нужна была, вот они и молчали. А нам сегодня, – и чиркнул себя большим пальцем по горлу, – она вот как требуется. Мы молчать не будем.

Благочинный сощурился серьезно, спросил с иронией:

– Мы, нам... Это, позвольте узнать, кто такие?

Кира взорвало. Ответил благочинному резко, с издевкой и вызовом:

– Наследники ваши. Я, другие, вся Кола. – Он еще пытался говорить рассудительно, но сдержаться уже не мог. – У нас обычаем старых людей уважают и чтят. А вас почему-то больше других. За что бы это? – И скривил презрительно губы. – Уж не за ваше ли молчание при продаже земли? – Он не сдерживал больше себя. Ему хотелось бить и крушить это молчаливое сопротивление. И, выплескивая из себя все подспудные мысли и обиды, Кир подался к столу, яростно оглядывал стариков: – Вы подумали о том, что оставите нам в наследство?! Проданную землю да наказ молчать. Только-то?! Эх, вы! Другие хоть что-то пытались сделать, их хоть пороли за это, – и отстранился от стола. – А вы и этой чести не удостоились...

Отец ударил по столу ложкой. Большая, деревянная, она треснула и развалилась.

– Хватит! Сопляк!

Глаза у отца то растерянные и жалкие, то холодные и чужие. В лице ни кровинки. Неверной рукой шарит по столу обломком ложки, голос гневный:

– Думаешь, сходил в столицу – теперь все позволено?! Не выйдет! Захочу – завтра пойдешь на судне работником...

Кир осекся. Молчание наступило неловкое и гнетущее. Отец Иоанн с опущенными глазами чертил на столе вилкой.

Лицо багровое. Голосом смущенным, располагающим к

примирению, промолвил, не поднимая глаз:

– Не надобно говорить не знаячи. – Помолчал и выдохнул задумчиво, как откровение для себя: – Обстоятельства, они подчас сильнее духа человеческого...

Но Кир не слушал. Захлестнула обида. Не отвечая, поднялся из-за стола, собираясь уходить, надевал новую тройку, привезенную из столицы, разглядывал сюртук так, что могло показаться: сейчас для него нет ничего важнее этого сюртука. Благочинный следил за ним, что-то обдумывая, миролюбиво спросил:

– В кабак собрался?

– Нет. На вечерку пойду.

– Надо бы в кабак сходить. – Глаза у благочинного просительные, голос добрый. – Люди ждать будут. Надо им уважение сделать: рассказать, как в столицу ходил. Подумать сообща, как да что. Может, и еще смельчаки сыщутся.

Но Кир закусил удила:

– Думу думать и об деле смекать, гляжу, рано еще. Сперва надо, чтобы вы с отцом поняли всю пользу. Поверили, что дело я говорил.

И смотрел на отца. Сидит за столом, не оборачиваясь к Киру, прямой, строгий. Из ворота рубахи шея с густой сетью морщин. Тело под рубахой иссохшее. Кир потоптался на месте:

– Я пошел. Прости, отец, если что сказал не так...

Отец молчал. Кир вышел, плотно притворил за собою

дверь. Отец так и не оглянулся.

На крыльце Кир привалился спиной к балясине, запрокинул голову, смотрел в пасмурное небо. Тучи плыли низкие, серые, холодные. Вечерело. Издалека шла гармоника, звала к себе бойкими переливами. А на душе было скверно, идти не хотелось. Кто мог подумать, что отец так взъерится? От выпитого горело в груди, покруживалась голова. Не получился разговор, а жаль. Без их помощи не поднять колян. Не поверят. А может, не прав он, Кир? Но вся обстановка на Мурманском берегу складывается так удобно. Торговля, промысел, постройка судов – все просит переделки и улучшения. Нет, за него сама судьба. Усмехнулся. И даже закон о соли.

Хлопнула калитка, и от ворот прибежала Граня. Кир загородил дорогу, игриво потянулся к ней.

– Граня...

Она, защищаясь, отступала. На близко дышащем лице испуг.

– Что это вы, Кир Игнатьич, руки-то распускаете? Не беседница ваша. – И блестела в сумерках глазами, не уходила.

Кир поймал ее, обхватил крепко, посмеивался:

– А ты позови на беседу...

Граня вырывалась несильно, словно ждала чего-то:

– Я только суженого позову...

От Грани зазывно пахло ромашкой, новым ситцем и свежестью. Девичья близость дурманила. Притянул Граню ближе к себе: тело молодое, нетроганое будило желание.

– Может, я и есть твой суженый? Вдруг завтра сватов зашлю?

Граня от поцелуев увертывалась.

– У вас есть к кому засылать... – И неожиданно вывернулась из рук, юркнула в приоткрытую дверь. Кир успел лишь хлопнуть ее вдогонку по девичьему задку, довольный захотал. В сенях рассмеялась и Граня. Гармоника шла где-то рядом, звала. Кир представил, как славно ему будет на вечерке. Спускаясь с крыльца, думал: «Ух и спляшу сегодня».

С улицы медленно текли сумерки, сгущались по углам, заполняли комнату. Старики не зажигали света, долго сидели в потемках, молчали.

Герасимов поставил локти на стол, опустил лоб на ладони, сидел неподвижно. Благодичному не видно его лица. Да и не надобно. И так все понятно. Сидит его друг, горестно втянув голову в плечи, старый, одинокий. Ох-хо-хо... Не часто приходится мысли вспять поворачивать. Думалось иной раз: не лезь, не твоя это дорога. И не лез, проходил стороной. Глядь потом – эх, надо было остановиться, посмотреть, подумать да не так пройти это место...

И вспомнил о том, что совсем запамятовал с прибытием Кира. Сказал тихо:

– Поутру Матвей приходил. Городничий нас к себе звал чего-то.

Герасимов поднял голову, смотрел из потемок отрешенным взглядом. И без того старое лицо еще больше осунулось, запало.

– Он какой-то пакет из губернии получил. Все насчет границы у писаря любопытствовал, – продолжал благодичный. – Я сказал: дело, мол, то мирское. Мне по велению синода не след в такое мешаться. – И поднялся из-за стола, не перекрестив лба, ходил по комнате медленно, думал о чем-

то своим. Герасимов неподвижно смотрел перед собой, погода вздохнул тяжело и сказал, редко роняя слова:

– Вишь как оно обернулось все. Родной сын попрекнуть смел.

Благочинный словно ждал этой жалобы:

– Не он, так другой. Скажут еще, не пощадят: промотали, дескать, отцы земельку, не сберегли.

Герасимов усмехнулся горько:

– Какая уж там пощада, коль о наследстве зашло.

Благочинный вернулся к столу, сел на место Кира, ближе к Герасимову, положил ему на плечо руку:

– А ведь речи-то Кира – не пустяк. Ходовит он разумом.

– О компаниях? – Герасимов повернулся к другу. – Пустое это, на компаниях не нам чета, родовитые да вельможные обламывались... А колянам не только расходы артельные нести, иной раз срам прикрыть нечем.

Благочинный знал, о чем говорил Герасимов. Все на глазах, на их памяти было. Все будто вчера одно за одним свершалось. А в этом вчера...

Сколько их, рук жадных тянулось, чтоб взять оброк с Севера? Сколько их было, голов горячих? Не счесть. Купцы, коммерсанты, графы, цари...

Люди разного сословия, чина и достатка были схожи в одном: взять побольше, а дать поменьше. Не любит Север и не прощает этого. У Кира же всему подкладка иная: не только о себе печется. Это благочинному нравилось. Поэтому и счи-

тал: Кир на упрек имел право. Однако возражать Герасимову не хотел. Сказал утешающе:

– Пустое или нет, что нам суперечить? Это уж молодых забота. Им песню петь, им и на гусях играть. А нам, мыслю, к городничему-то сходить надобно...

Взгляд Герасимова, далекий и отчужденный, блеснул искрой робкой надежды. Благочинный заметил это и, жалея и ободряя друга, продолжил с ласковостью:

– Послушаем, что скажет, подумаем, о чем говорить с ним. Авось что и проклянется для начала.

И долго еще сидели в темной горнице одиноко, каждый думая о своем.

Кабак гудел. Подвешенные к потолку, блестели начищенные подсвечники, на свечах вытягивались языки пламени, бросали неяркий свет на добела выскобленные пол и лавки, на столы с праздничной снедью. По старинному обычаю, как деды и прадеды, собирались коляне под одной крышей, отмечали возвращение с промыслов.

Чинно сидели за столами уважаемые мореходы-промышленники, те, кто с малолетства ходил за зверем на Новую Землю и Грумант, кто без лоций и карт знал дороги торговые к норвегам и немцам.

Покрученники-мурманцы вели с хозяевами споры, с пьяными обидами считали долги и заработки, брали авансы и лезли в кабалу на следующий сезон. Тароватые же хозяева пили со всеми, не пропивая ума. Осторожно, исподволь, сколачивали новые артели-покруты, подряжали их на осенние работы: ставить семужьи заборы или идти на зверовой промысел в море.

Шум, спор и говор общий, пьяный, дым ярусами. Увиденное и услышанное за лето просится наружу и, подогретое из государевых бочек, выливается в слова, что впрок собраны во время долгого молчания на однообразной тяжелой рыбацкой работе.

Подряды и беседы, авансы и долги, все старое и новое,

под заливчатскую россыпь гармоники скрепляют водкой и норвежским ромом.

Чуть ли не основной статьей царского дохода была продажа питей. И, может, поэтому заботливо оберегал государь император свою монополию, беспощадно карал ослушников.

Согревали поморы продрогшие за полгода кости. Истосковавшиеся по людским сборищам, пили допьяна, славно исполняя государев наказ: «Пока по доброй воле питеух не уйдет из кабака, никто не может увести его». И пусть он оставляет в кабаке годовой заработок, обрекая семью на голод, но под страхом наказания жесточайшего не перечат ему: большая часть денег, что он пропивает, идет в казну.

Подальше от стойки, в укромном углу, у штофа с ромом сидел Сулль. Он пил крепкий по-северному чай и курил. Не празднo сидел он здесь. На вечер этот возлагал Сулль большие надежды. Надо ему знать, кто пришел с моря без заработка, кто пропил его. Может, и сумеет из таких Сулль выбрать работников. И нужно-то ему два-три человека, а вот поди ж ты – не идут к нему. Потеряли коляне в него веру. Полагают, что ходить за треской и палтусом безопаснее.

А все тот случай. Тот, как это по-русски? Растяпа! Правильное слово. Напоминает квашню, кисель или тряпку, какой моют пол. Да, – все этот рас-тя-па. Взял его Сулль на беду. Хоть и силен, а медлителен, бахвал. Думал, что акулы – селедка. А нужно спокойствие – лед. Думать быстро и – раз, раз – шевелиться! Испугался – сила ушла, рука дрогнула.

Сулль курил, попыхивал трубкой и где-то там, за дымком, видел полярную ночь и в темноте моря утлую шняку. На шняке их трое. Бледный свет фонаря и отблески на воде. А там, в черной пучине, мечутся гладкие и большие тела акул. Верхние их плавники бурунят вокруг шняки воду. Море, казалось, кишит акулами. Если б шняка перевернулась? Сулль усмехнулся: акулы обошлись бы без фонаря... О, как они заходили, когда в воду, в шняку брызнула кровь! Да, Сулль такого еще не видел: акула прыгнула, как собака. Метнулась

тушей, и не стало ноги у рас-тяпы. Шняку чуть не опружило. Хорошо, Сулль успел-таки вспороть брюхо акуле, и она сама стала для других кормом. А то, пожалуй, и не уйти бы. И все он. Суетился, боялся. Рас-тяпа!

Странные эти русские. Не понимают простого – выгоды. Рядом, в заливе, плавают хорошие, честные деньги. Не ленись – сходи и возьми. Нет, не хотят!

А как хорошо наладил было он, Сулль, этот промысел в Коле! Были охотники идти с ним, была добыча, были деньги.

Англичане, что приходили последний раз, просили добывать больше, говорили, что возьмут все: шкуры на шагрень, и печень на жир, и сало.

А теперь к Суллю никто не идет. И сколько ни объясняет он, что вот не погиб же, – все напрасно. Встречают его в домах хорошо, уважают, даже займы предлагают, а на промысел с ним не идут. Отводят глаза, прячутся за старинку:

– Кола больше рыбой знаменита. Ею живем-дышим. Остальное – так, баловство одно.

И напрасно Сулль растолковывает выгоды нового промысла, сулит доходы. Поморы не идут.

– Мы уж по обычаю, как отцы и деды наши, рыбкой прокормимся... Акулы, они нам без надобности.

Найти бы ладных поморов на зиму-две – и можно строить свою шхуну, бить на ней акул, самому возить товар в Англию. Но никто не идет. Не верят в него коляне.

Сулль смотрит на гостей кабацких, наблюдает за ними, ду-

мает.

Кабатчик за стойкой, как кормщик в непогоду. Все видит, все слышит и знай командует. Покрикивает на двух сирот-подростков, гоняет их без роздыха, подбадривает весело. А куда поведет глазом – расторопные помощники мигом туда штоф водки с поклоном. Кланяется и кабатчик из-за стойки, улыбается: «Куда же вы, гости дорогие, засобирались? Пейте, веселитесь, расчет потом». Пьют поморы.

За соседним столом уже крепко пьяные. Кузнец Лоушкин Афанасий и помор Иван Мезенев. Они кумовья и друзья. Гуляют всегда вместе. Суллю непонятна такая дружба. Что нашел мастеровой, умелый Лоушкин в лодыре и задире Иване? Ни работать, ни пить как следует Иван не умеет. Вот и сейчас: на бороде его – рыбы кости, капуста, отрыжка съеденного. Он лезет целоваться к своему другу, но Лоушкин отстраняется терпеливо и укоризненно:

– Иван, а Иван, ну и свинья ты, Иван. Борода у тебя ровно помойка. Облился ты, осопливел весь.

Иван смотрит тупо, глаза по-рыбы мутные, но языком ворочает миролюбиво:

– Невкусно ты говоришь. Ох, невкусно! Свинья, сопли. Срамник ты. Дай я тебя поцелую.

За другим столом сидят спокойные, тешат душу разговорами. Собралось народу много, тесно привалились к столу, слушают Степана Митрича. Сулль, как и весь Мурманский берег, знает его. Мужик ума крепкого, кормщик – какого по-

искать. Вот бы с кем на акул, да не пойдет. Ему бы только на Мотку ходить да на Грумант или китов бить.

Сулль прислушивается.

– И тогда он говорит: давай, дескать, тянуть канат. Станем на крыши разных домов, привяжемся одним канатом – и тяни! Кто с крыши свалится, тот и побежденный. И силой уж хвалиться не будет. Да... Если умом раскинуть – резонно говорит. А мне несподручно. Смекаю себе: нет, брат, не на дурака ты напал. И мы не лыком шиты. Хоть ты и силен, и вроде бы наш, русский, да матери у нас разные: не на своей ты земле стоишь и хлеб жрешь не с отцовской пашни. Под тобой и земля не та, и небо другое. Шатун ты, думаю, несчастный. Ведь вот как тебя одолею: до новых веников не забудешь. И говорю ему: «К чему нам эти хитрости да выдумки? Давай-ка мы с тобой по старинке, как деды наши и отцы на святках силу мерили, – стенка на стенку». Да... как помянул я отцов и дедов наших, вижу – обмяк он, словно из него хребет вынули. А соглашается: «Ладно, – говорит, – давай на кулачную».

– На кулачную?!

– Да, братцы, пошли мы с ним на кулачную. Силен он в кулаке. А только без хребта пасовать стал. Гонор уже не тот. И сноровка не та. Вот тут и стал я его из языческой веры выводить. Крещу да приговариваю: «Это тебе за то, чтоб сам не срамился, а это – чтобы нас не позорил на потеху иноземцам...»

За столом смеются.

– Так, говоришь, и одолел, Митрич?

Степан Митрич озорно крутит головой, тоже смеется:

– Одолел, братцы. Будет помнить, какого роду-племени, где родился.

– Хорошо ты его проучил, Митрич.

– Изо всех беглых этот словно выродок. Как приходишь в Вадсё, многие идут на лодью. Словом ли перекинуться, чай-ку ли попить...

– Видать, тянет русское-то...

– А этот тверезый не ходит. Как завидит нас, напьется рому и начинает куражиться да задираться: давай-де силу мерить. Норвеги смеются... Пока сам тверезый, не связываешься. А как подопьешь – а, думаешь, была не была! Митьку Ванюкова, а он силой не обижен, два раза этот солдат чистил. Да еще насмехался: вот-де, смотрите, какие мы вольные-то над вами... Остальные ничего. Ходят.

– А самому разреши жить в Коле, сразу прибежит.

– Прибежишь небось, отправь-ка тебя туда жить...

– Что это меня-то? Мне и здесь беды хватает.

– Кровь – она, брат, говорит.

Сулль знает историю с беглыми русскими солдатами в Норвегии. Сулль знает и другое. Победив земляка, солдат напивался, буянил и плакал, как баба, пока не успокаивала его полиция. Да, Сулль знает, что такое чужбина. Он не беглый русский солдат и всегда может вернуться, но знает...

Сулль набивает трубку, курит и пьет с норвежским ромом кантонский контрабандный чай. Он прихлебывает маленькими глотками, наслаждается душистым ароматом, смотрит, думает, выжидает.

Поперхнулись языки свечей, проскрипели двери и впустили в кабак двоих, не кольских – чужих. Стоят они в дверях отчужденно, осматриваются. Сулль видел их днем у исправника – ссыльные. Безработные людишки, можно бы взять на акул, да куда возьмешь – лаптежники. К морю не свычны. Дойдешь с ними до Абрамовых гор – в штаны напустят. А если акул увидят, так со страху и живота лишатся. Тот белокурый вроде бы ничего, ядреный, но – лаптежник! Сулль разглядывал, оценивал и никак не мог представить его где-нибудь на шняке, в море. Куда ему... За акулами и помор – кто с детства на воде – не каждый идет. А эти всю жизнь с землей да с навозом. С такими сам на корм угодишь. Ему, Суллю, нужны люди смекалистые, ловкие.

...Просмотрел Сулль, начала не видел, оглянулся на шум. Стоит меж столов в проходе белокурый, прикрывает собой меньшего, а с полу поднимается, трезвея, Иван, не сводя с них глаз, хватает со стола нож и идет на белокурого. Раздвинув локти, набычив голову, в пьяной злобе надвигается, готовясь ударить.

Н-да-а. Вот оно, веселье здешнее. То целоваться, то резаться. И вдруг – Сулль не понял, как случилось такое, – летит Иван с завернутой рукой обратно, падает меж лавок ли-

цом вниз, а нож в руках белокурого остался.

– Ого!

Оглядываются поморы с удивлением, рассматривают пришельцев. Некоторые с мест поднимаются. Умолкла тальянка, усилив внимание к лаптежникам. Озираются они затравленные, а ближе всех к ним Лоушкин наступает, супится.

Бросил белокурый нож на стол, сказал обреченно;

– Ладно, бейте. Семеро одного – честь невелика.

– Зачем семеро? – обиделся Лоушкин. – Я один. А пьяного бить – совсем чести нету.

Молчат поморы выжидательно, знают – рука у Лоушкина тяжелая. Следят, как расстегивает он ворот рубахи праздничной и рукава закатывает. Поутихли в кабаке разговоры, и в тишине прозвучал степенный старческий голос:

– Сейгод с промысла все живы-здоровы вернулись. Праздник для нас великий. Стоит ли рушить его, чтоб завтра удали своей стыдно было?

Степан Митрич развернулся в сторону буянов и тоже голос, подал:

– А ведь не по-христиански ты, Лоушкин. Народ они пришлый, порядков наших не знают. Ивану же не след было с ножом кидаться, грех на душу брать.

Поостыл Лоушкин в раздумье и, видать, в душе согласился с укорами, да не хотел оставлять друга в обиде. Окинув взглядом лаптежников, прицениваясь, сел на лавку, сказал с азартом:

– Садись да помни: проиграешь – век не сидеть тебе посередь нас. – Поставил локоть на стол: – Давай, чья возьмет!

Поколебался белокурый, на руку Лоушкина поглядывая, однако на лавку сел, шевельнул плечами.

Довольные предстоящей потехой, окружили поморы стол. Всем посмотреть хотелось, как лаптежников урезонивать будут. Заранее знали, как возьмутся руками, будет Лоушкин дразнить: то вроде бы поддается, обессиленный, – вот-вот совсем сдастся, да выпрямит, поставит руку посередке и опять тешится. А наиграется – пригнет да так нажмет руку, хоть караул кричи.

И никто не ждал, что в наступившей тишине скоро встанет из-за стола Лоушкин, багровый от злости, раздвинет поморов и, опустив глаза, молча уйдет к своему столу. Шутка ли, на глазах у всей Колы лаптежник в зипуне рваном положил его руку трижды!

Не могли коляне спустить такого. Потолкались меж собой и вытолкнули к столу следующего. А через мгновение встал и он. Галдели поморы восхищенно, задорно и досадливо. Садись к столу, кто силу чувствовал и не верил, что может зипунщик быть сильнее помора. Садись с азартом и вставали с позором. Лаптежник сидел. Прекращались в кабаке разговоры и пьянка, поднимались с мест самые именитые поморы, шли к окруженному столу привлеченные необычным: одну за другой клонил руки колян неизвестный пришелец.

Когда встал из-за стола Степан Митрич, поднялся и

Сулль. Стояли они рядом, смотрели, как белая в синих прожилках рука ловко гнет загорелые руки поморов. Сулль дивился ловкости и силе, взглядывался, изучал это русское лицо. Глаза честные. Но какие-то настороженные и в себя не пускают. А Сулль хотел бы заглянуть внутрь, увидеть, что там. Привлекал его чем-то парень.

Заново сцепились руки. Неуловимое точное движение – и снова рука помора повержена. А в глазах в этот миг огонек уверенности, задора, игры. И Сулль увидел. Он подметил это движение и этот огонек, рассмотрел белокурого как бы издали: он может стоять на кротиле. Но нужно много учить, нужно все хорошо обдумать. Сулль смотрел на кузнеца Лоушкина, на белокурого лаптежника, сравнивал, прикидывал. Получится, если Лоушкин не взъерится и сумеет простить обиду.

– Ты, Никитка, встань, здесь игра честная, – сказал Степан Митрич. – Негоже по два захода-то...

Пристыженный Никитка трезво, озорно блестел глазами, оправдывался:

– Не уразумел я, Митрич, как он меня ловкостью-то обьяхал.

– Не в ловкости и не в силе тут, а в правоте. Вы хотите обидеть пришельца, а он зла вам не сделал. Он прав, поэтому и силен. Почему я в Норвегии побил солдата беглого? Прав был, заступался за своих, русских. Он хотя тоже русский, однако за плечами ничего нет: хлеб жрет ихний, воздухом чу-

жим дышит. А это супротив нашего – ничто! Смотрите.

Степан Митрич сел за стол, оголил волосатую в татуировке руку.

– Давай, парень, руку. За себя заступаясь, ты прав был. Теперь я прав, заступаюсь за честь поморскую. Не хочу я тебя унижить. И зла тебе не желаю. Но силу лишь правота дает.

Сошлись ладони, напряглись руки, стоя по центру, и замерли. Выжидательно следили поморы, видели, как приливает кровь к лицам, как белеют от натуги руки и как медленно-медленно рука зипунщика в синих прожилках клонится под волосатой рукой Степана Митрича.

Отчаянно, удивленно смотрел белокурый. Видно было: пытался он удержать руку. А поморы уже загомонили радостно, подняли шум.

– Ты сердца на меня не держи, – сказал Степан Митрич: – Не принято у нас это.

Растолкав поморов, выступил вперед Лоушкин. Уже пьяный, с недобрыми глазами, оперся руками о стол, сказал зипунщику, медленно, и твердо выговаривая:

– Уходите.

Ему никто не перечил. Молчали поморы, молчал Степан Митрич. Суль смотрел, как уходили из кабака лаптежники, одинокие и чужие, не вмешивался.

«Так хорошо, – думал он. – Все правильно».

Они вышли из кабака, не глядя друг на друга, не разговаривая. Смольков украдкой перекрестился на темную громаду собора, вздохнул, как после рыданий, со всхлипом.

От залива тянул холодом ветер, сердито шуршал в траве.

Андрей зябко повел плечами, ту же стянулся опояской, в сердцах сплюнул. «И нужен был нам этот кабак! Пойдем да пойдем». Но Смолькову пенять не стал: что случилось, того не воротишь. Не сговариваясь, пошли в сторону крепостных ворот, в слободку. По дощатому настилу прошли мимо темных окон таможни и казначейства. Свернули на соборную площадь. В городской ратуше горел свет, где-то за ней бряцала колотушка ночного сторожа.

Смольков шел с Андреем рядом, горестно вздыхал, все пытался заговорить.

– Грех-то какой случился, – бормотал он, – не чаю, как и толкнул его. Брезгливый я. Как он неожиданно облобызал меня, сам не упомяну, как получилось.

Андрей молчал, шагая споро. Смольков повременил, дернул его за рукав, остановился.

– Ты уж меня не суди, Андрюха, что я со страху за тебя схоронился. Испужался я. Глазищи у него, ровно у быка, налились кровью.

– Ладно, чего уж там...

Сзади из переулка послышались гулкие в ночи шаги, и из-за угла вынырнул свет фонаря.

– Эй, – послышалось, – ссыльные, ждите!

Подошел мужик незнакомый, бритый. Опахнуло крепким табаком и чем-то хмельным и сытным. Он поднял фонарь, осветил Андрея.

– Я был там, кабак. Я все видел. Я люблю хороший русский сила и очень понимаю, как быть на чужбине. Я приглашаю мой дом. Я буду угощать едой, водкой. О, вы не будете жалеть! Я буду говорить, как можно вам брать хорошие деньги. Вы мой гость.

Смольков насторожился, приняхался, чуть оттеснил Андрея.

– А ты кто будешь, добрый человек? Хозяин?

Мужик повернул фонарь к Смолькову. – Я есть свободный житель Кола. Я Сульль – Акулья Смерть. Меня знает Кола, Мурман, я есть честный человек...

Вечером Шешелов принимал гостей. При свете ярких свечей сидел он за большим столом городничего строгий, в мундире, поглядывал на колян. Держались они степенно, говорили почтительно. А разговор не клеился. Недоговаривали старики чего-то. Может, неверный тон взял Шешелов? А помягче если, да спросить прямо, что о границе знают?

– Как бы нам за это знание не отхлестали старые седалища, – говорит благочинный.

Они смеются теперь, шутят, но Шешелов понимает: значит, есть опасения.

И сам тоже смеется.

– Почему же?

– Да так уж...

– За разговоры о границе третий исправник велит пороть.

– И о каждом случае доносит особо в губернию.

«Значит, бумага у исправника есть-таки, – думает Шешелов. – Недаром он тогда лопаря одернул. Не зря и письмоводитель смолчал. Но с исправником – дело особое». И успокаивает своих гостей. Он городничий, ему история Севера интересна. Хотел бы в частной беседе узнать кое-что. Нет, каверзой здесь не пахнет, он дает слово.

Гости переглянулись. Благочинный теребил на груди серебряный крест. Герасимов сложил на коленях руки, кашля-

нул.

– На землях, что отошли к норвегам, исстари жили наши, русские лопари, – начал. – Пасли оленей, рыбу ловили и разные земские повинности исполняли.

– В давние годы они были двоеданными, платили дань и России, и датчанам, – вставил благочинный. – Но веру они православную, нашу, имели, в церковь ходили Бориса и Глеба. На той стороне теперь.

– Да, – подтвердил Герасимов. – Рядом со старой границей приход был наш. – И продолжал: – Места те богатые и обширные, а лопари – народ полукочевой. Сегодня здесь – завтра нету. Вот норвежские лопари и повадились в те места неохраемые. То оленей пасут, то зверя бьют. А солдаты шведские из Вардёгуса лес на русской стороне рубят да плавят. Наозоруют воровски – и домой. Благо места эти от Колы далеко, а от норвежского Вадсё близко. Им и удобно...

Шешелов слушал.

– Однажды русские лопари поймали воров с поличным. Началась драка. Лопари били воров на своей земле, а норвежцы тоже сдачи хорошо дали. Наши лопари после драки – в Колу. Родственников в округе много, да и коляне взбунтовались: как так? Чуть не пошли Вадсё громить. Однако второй драки не случилось. Исправник был такой, царство ему небесное, – враз горячие головы охладил. Кого в каталажку бросил, кому розгами пригрозил. Сам на шняку и пошел в Вадсё. С народом ихним там разговор имел, потом со свои-

ми разбирался тут, в Коле, повелел строго молчать, а в Архангельск сам бумагу послал: непорядки, мол. Приходят на нашу землю воровские люди, мох окармливают, зверя облавливают, в реках заборы семужьи рушат и прочие обиды чинят. Просим, мол, заступиться и указать, как быть. Послали бумагу, а ответа нет. Городничий тут был – ни рыба ни мясо, место лишь занимал. Шум, дескать, утих – и ладно.

Герасимов говорил осуждающе, глаза не прятал. Шешелов недовольно поворочался в кресле, однако обидный намек стерпел.

– А на следующий год получаем весной письмецо. Соизволил-де государь император к вам своих комиссаров послать. И в июне прибыл подполковник Галямин с прапорщиком. Разбирательства, однако, по набегам воровских людей они чинить не стали, а поехали на место смотреть границу. Как уж они там ездили, одному богу ведомо. Только отвели они норвегам восемьсот верст земли, скрепили с ними бумагу да разъехались... Так вот новая граница и возникла.

В комнате было жарко, хотелось курить. Шешелов знал, что Герасимов не курит, осуждает табакурство благочинный, и крепился. Конечно, думал, своей земли они патриоты, но люди от государственных дел далекие. А есть еще высокая политика, интересы отечества... И вслух спросил:

– Почему же все-таки сделали такую большую уступку?

– Такое, видно, Галямин предписание получил. А может, самовольно допустил себе не в убыток, Поговаривали такое,

будто Галямину орден дали в Норвегии да денег три тысячи.

Герасимов усмехнулся, мотнул головой:

– Вот и выходит, продали землю...

Шешелов поднялся из кресла, закинул руки за спину, прошелся, расстегнул воротник мундира.

– А может, – начал в сомнении он, – эта жертва была оправдана спокойствием на нашей границе? Раз были земли спорными.

– Вот так и мы другим толкуем, – не утерпел благочинный. – Другим, почтеннейший Иван Алексеич. Только самим-то нам не следует себя обманывать. Даже в утешение.

Места, переданные Норвегии, испокон веков наши были. Церковь православная утвердилась там исстари. За эту землю отдали жизнь сто шестнадцать печенгских иноков. По писцовым книгам и купчим крепостям, государственным записям и жалованным грамотам, та земля двести лет составляла собственность Печенгского монастыря...

Шешелов не имел таких знаний. Он помолчал смущенно, потом снова поднялся из кресла, прошелся по кабинету, разложил на столе карту. Втроем они склонились над ней, и Шешелов чувствовал, как исчезает стена отчужденности.

– Я эти места хорошо знаю, – говорил старый Герасимов. – Еще смолоду, как на промысла ходил, обошел все по воде и по суше. Дивные места. Вот здесь и здесь подходы мойвы очень богатые. Лучшей наживки, когда треску ярусом ловишь, не сыскать. А теперь промышленники наживку вот где

берут. Далеко... Вот здесь, – показывал он, – зверя много. Бобра особенно, А это Пазрецкая гавань. Тихая, просторная и не замерзает. Здесь мы китов били. Тут вот – англичанин. А здесь я с капитаном Литке плавал, – и глаза прояснились, блеснули молодо. – Он меня к себе заместо лоцмана приглашал...

У дома тетки Матрены Кир постоял, вслушиваясь. За стеной чистый девичий голос выводил грустно:

*До чего же мне, девушке, тошно,
Пособить горю-горюшку невозможно...*

Значит, со входом погодить надо. Песня – не пляска и не частушки, нельзя вваливаться. К народу неуважение покажешь.

Конца песни с нетерпением ждал. Успела ль Нюшка вернуться? Вспомнил ее, смеющуюся, озорную. И лишь песня смолкла, открыл дверь.

Постаралась тетка Матрена. Свет – не жир в плошках, свечи. Из горницы лишнее убрано. Вдоль стен лишь лавки остались, сидят девушки. Любушки вы, коляночки. Одежда – разлились цвета, что в тундре летом: зеленые, синие, красные, желтые, розовые сарафаны. Платки большие, шелковые с пестрыми узорами. Вороха лент разноцветных вплетены в косы. Куда тундре до кольских девушек! У земли на Севере нет таких красок.

У самых дверей парни. Сидеть им не полагается. А дальше оркестр неизменный: гармоника, гитара да балалайка.

Только что смолкла песня грустная, а в горнице совсем не

печалью, не заботами пахнет. Секретничая, о своем посмеиваются девушки. Стараясь шуткой блеснуть и бывалостью, гомонят парни. Шумновато. Беспечность легких заигрываний, веселья, желаний порхает рядом, будоражит чувства.

Кир враз окинул всех взглядом и, как повелось, поклонился в сторону лавок, приветствуя:

– Девушки красны...

И еще поклон, ровесникам:

– Молодцы удалы...

А сам уже заметил – боком к нему сидит в переднем углу Нюшка, смеется с подругами. Тетка Матрена, помолодевшая в ярком сарафане желтом, вышла вперед, ответила на поклон:

– Проходи, пожалуй нас...

Парни обступили Кира. Сибирки суконные наглажены, ворота рубаш праздничных прирасстегнуты. Матросы Кира обновками выделяются: форсят норвежскими шерстяными рубашками и легкими пиджаками столичными. Возбужденные все, шумливые. Те, что ходили с ним в Петербург, – особенно.

– Мы уж думали, в кабаке ты. Хотели слать за тобой. – И тормозили его.

Кир же взгляд Нюшкин поймать старался. Не видит она, что ли? Или нарочно задеть старается? Ох, Нюшка!

А вечерка своим чередом идет. Отдохнули музыканты, и тихо-медленно полилась, заполняя горницу, плясовая – ка-

маринская. Разливается шуточный мотив, захватывает. Не дает камаринский мужик стоять на месте. Не до друзей Кир-ру. Подмигнул заговорщицки: потом, потом, други. Не затем сюда шли...

Смеясь, попятился к середине горницы, в повороте развел руками, топнул в такт музыке для начала.

– Эх, хорошо! Ладно бы так жизнь прожить!

И, не видя ничего больше, помня лишь – не повернула к нему головы Нюшка, – пошел в пляске по кругу:

– Подбирай, девушки, сарафаны! Наступлю – жалко станет!

Сколько Кир знал куплетов о камаринском мужике! Грустные и смешные, заразительные простотой, близкие и понятные, они рассказывали о рассеянном, везде плошавшем, все делавшем невпопад бедолаге с тощей бородашкой. В проношенных лаптях, по всей России приплясывал от нужды камаринский мужик. Легкий на ходу, появлялся всюду, вызывал насмешки, улыбки, хохот, но, словно не ведая об этом, неунывающий, он плясал! Плясал то суетливо и озабоченно, то весело и с задором, но всегда вдохновенно, будто хотел остатками лаптей втоптать в землю свою непутевую судьбу.

И, вторя камаринскому мужику, приплясывал российский люд. Плясали лапти лыковые, ноги босые и смазные сапоги. А подчас, забыв о воспитании французском, плясали атласные туфельки, лакированные сапоги и узкие в носке штиб-

леты. Плясали самозабвенно, до изнеможения.

Без камаринской пляски веселья в России не было.

Пока Кир шел кругом по горнице, попритихла стража из кумушек. Хоть наперед знали, а гадали все ж: кого пригласит?

Приходили кумушки на вечёрки не только отдохнуть да, на молодость глядя, свою вспомнить или невесту высмотреть. Для вечеринок в Коле свои обычаи: за общением молодежи полагается догляд старших – караулятся разговоры.

А Нюшка будто не замечает Кира. Весело ей с подругами. Лишь когда Кир стал перед ней, подняла глаза васильковые, большие, а в них затемнела синева холодом. Усмехнулась и повела плечом. Кир даже оробел малость, враз вспомнив всех ребят кольских, кто бы мог заменить его. Но подозрения отбросил – вот еще, чепуха какая! И уже уступал Нюшке дорогу, вторя оркестру, хлопал в ладони, бодрил, зазывал просительно, не сводя глаз с нее: «Ну же, ну, выходи, Нюша!»

А музыка тормозит, зовет, подталкивает. Помедлила Нюшка, встала, оправила сарафан, развернула платок за спиной и пошла-поплыла, прислушиваясь к мелодии, будто вспоминая в ней свое что-то. Шла по кругу, выражая всем видом: с Киrom плясать или с другим кем – одинаково ей.

Капризов и своеволий Нюшкиных Кир всяких видывал. Не со вчера знакомы. Однако беспокойно ему нынче. Столько времени не виделись, и вот – на тебе! Озадаченный, по-

глядывает на Ньюшку: красивая! Наряды ее им прежде не виданы. Сарафан кумачный сборчатый с рукавами, окаймленными кружевом тонким. Передник расшит стеклярусом разноцветным. Кокошник из цветного жемчуга, серьги с камнем зеленым. Во всем облике что-то новое, строгое. Озорства и в помине нет. Неладное что-то с девкой.

Играют музыканты. Ньюшка то оставит платок на плечах и идет, разводя руками, то возьмет за концы его, поведет головой задумчиво, словно со стороны себя оглядывает.

Или вдруг рассыплет дробь каблуков, вспыхнет лицом, а в глазах что-то затаенное. И опять в разводе рук округлом, в повороте головы – гордое, неприступное. Яркие губы в уверенной усмешке. Озадачен, восхищен Кир.

Гуще разливается мотив по горнице, зажигает молодежь удалю. Сидят по лавкам кумушки языкастые, смотрят, судачат. Сидят девушки, ждут приглашения. Хлопают в ладони, подпевают:

Плывет девушка-лебедушка...

Кир вокруг Ньюшки увивается. Какой там лебедь? Девка молодая, сдобная, будоражит воображение. Казалось, сквозь сарафан Кир видел мягкие изгибы ее тела – и волнение, что ощутил по приходе, пуще кружило теперь хмелем голову, пробуждало зов, на который стоило переплыть море...

Тесно в горнице звукам. Не стоит парням. Выходя на круг, разбирают девушек. Идет пляска камаринская – сущее ратоборство. Усердствует молодежь – чья возьмет? Бегут,

кружатся девушки. С посвистом и уханьем пляшут парни.

«Эх, эх, эх, эх!» – залихватски выделывают ногами, роняют камаринские припевки:

*Кабы не было мне жалко лаптей,
Убежал бы от жены и от детей...
Ух ты-ы! Жарь, гармоника-а!..*

И гармоника жарила, щедро рассыпая подхлестывающие звуки, и тело, наполняясь ими, заражалось неумемной силой, сливалось с музыкой.

Забыты сердитый шум волн незнакомых морей, опасность и слава трудного плавания, ссора со стариками, только Нюшка, запевала и признанная плясунья, мелькнет перед Киром платком шелковым, передником или ногой крепкой в ботинке, высоко шнурованном. И Кир, войдя в раж, с маху пиджак долой, идет в присядке, вертится волчком, выстукивает каблуками. Не уступить, победителем выйти!

Раскраснелась Нюшка! Тают во взгляде льдинки, голубеют глаза теплом, предназначенным только Киру.

«Так-так, так-так!» – выбивает дробь Кир. Смотри, стража! Карауль разговоры, блюда обычая. Плотно сжат рот, молчит Кир. И слова не сказал Нюшке, а души их, что струны гитарные: настраиваются, настраиваются на один лад. Идет разговор на неприметном языке взглядов, движений. О нем стража глазастая лишь догадаться может, но помешать – не дано ей.

Душно в горнице. Устали музыканты, смолкли. Остановились плясуны-танцевальщики. Лица разгоряченные, красные. Глаза блестят. Жмут друг другу руки, кланяются. По обычаю благодарят парней девушки. У Нюшки руки маленькие, горячие, с нежной кожей. Смотрит ей в глаза Кир, тонет в их синеве и, почти не разжимая рта, успевает выдохнуть просительно: «Позови на беседу, Нюша...» У Нюшки в глазах огонек довольства, метнулся по Киру, как и раньше бывало, озорно, победно. Отняла руки и поклонилась, благодаря за танец.

Открыты настежь двери. Идут парни на крыльцо, остудиться. Размещаются по лавкам девушки, обмахиваются платочками. Перерыв в танцах.

...В ночь погода испортилась. С залива тянул шелоник; злой, пронизывающий, он гнал плотные серые тучи, грозил дождем. Теплую кацавейку Нюшкину продувал насквозь. Нюшка, светя себе фонарем на дорогу, с вечёрки – бегом: успеть до дождя бы. В ограде перевела дух, отдышалась. Гремя цепью, подбежал пес, ласкался. Нюшка потрепала его по густой шерсти: «Что, бедняжка, холодно?» И, минуя сени, пошла на задний двор крытый. Во дворе затишье. Бревенчатые стены конопаченные не пропускают ветра. Походила, оглядывая двор: вздыхая, жевали коровы, в закутке спали овцы. Нюшка подняла фонарь, осветила. В задней стене на за-сов закрыта ворютина. Выходила она в глухой проулок, к туломским амбарам. Пользовались ею редко, при чистке двора. Нюшка, прислушиваясь, подождала. В щели ворютины продувал ветер, стучали первые капли дождя... Нет, не слышать. Корова подняла на свет голову, вздохнула шумно, протяжно и опять стала жевать лениво и обреченно. Нюшка в недоумении подняла брови: «Неужто ошиблась?» Усмехнулась своим мыслям, помахивая фонарем, пошла в дом.

Из сенцев Нюшка не вошла – впрыгнула, хлопнула в кухне дверь. На столе две плоские сальные метнули по стенам тени. В кухне тепло. Бабуся прядет кудель, шуршит прялкой.

– Не спишь, бабуся?

Колесо прялки остановилось, бабуся, поднимаясь, всматривалась, с каким настроением вернулась внучка:

– Не сплю. Досыта ль наплясалась?

Нюшка, расстегивая кацавейку, пошла к бабуся. Согнулась, взяла ее руки в свои, приложила к щеке.

– Наплясалась, аж ноги болят. Какие у тебя руки теплые! А на дворе холодина. И есть так хочется...

Бабуся деланно посуровела:

– Ишь, есть хочется! Пока не расскажешь про вечерку – не дам.

Нюшка стянула с себя платок, сняла кацавейку, кокошник, тряхнула головой, разметала косу.

– Все-все расскажу. И что было, и что будет...

– Молодой-то Герасимов был на вечерке? – бабуся доставала из блюдного шкафа посуду, хлебницу с пирогами.

У Нюшки глаза блеснули смехом.

– Был! Где ему еще быть?

– Плясал он с тобой? – допытывалась бабуся.

Нюшка, проголодавшаяся, уплетала пирог.

– А то как же? С кем ему еще плясать?

Подперев щеку рукой, бабуся устроилась против Нюшки.

– Гордячка. И чего гордишься? Иль в Коле девки повывелись?

– Повывелись, – Нюшка с полным ртом смеялась. – Из породистых, после тебя, только я одна. Больше нету.

Бабуся качала головой, посмеивалась:

– Ох, хвастуша! – Подзадоривала: – У Пармоновых Гранька как есть заткнет тебя за пояс...

– Гранька?! – залилась смехом Нюшка. – Куда ей? Давеча, смотрю, пришла в материнском кокошнике. Свой вышить умения нет. А у меня, смотри, – встала, прошлась, показывая передник. – Кто лучше меня стеклярусом расшить может? А споет? А спляшет? На Граньку парни-то и не глядят вовсе...

– Только на тебя?

Нюшка уперла в бока руки, вскинула голову:

– На меня!

Лицо бабуся все в морщинах, доброе, а сама подстрекает, выведывает. Не терпится ей знать сердечные дела Нюшкины.

– Однако весной как уехал он не простясь, посохла ты...

Глаза Нюшкины сузились в долгом взгляде. Усмехнулась уголком губ, пропела тихонько, с веселой угрозой в голосе:

*Меня высушил милой – суше травки полевой,
Я повысушу его – суше сена летнего.*

– Ух, греховница! – осерчала бабуся. – Нешто поют в ночи? – перекрестила Нюшку. – Иди, спи. Приберу я со стола-то...

Нюшка из сенцев поднималась по лестнице в свою светелку, загородив ладошкой ладонью.

О Граньке бабуся не зря помянула. Насторожить хочет. Дома сидит, а слухом пользуется. На вечерке и Нюшка узнала: Гранька с матерью целый день провели в доме Герасимовых. И баню топили, и стол готовили. Гранька – не соперница! Но пересуды велись в присутствии Нюшки, были ей неприятны. Девки будто с ума посходили: «Кир, Кир!» А Кир на вечерку долго не появлялся, Граньки тоже не было. Все это раздражало Нюшку: думай тут, гадай.

В светелке у Нюшки чисто, уютно, тихо. Внизу протоплена печь, и от стенки с трубой исходит тепло, сухое, мягкое.

На вечерку Кир зашел только, Нюшка сразу увидела: глазами ее ищет. Но обиды не могла простить. Весной умчался – слова не сказал. Теперь назначил вечерку, а пришел последний. Подумаешь, герой! Жди его. Шиш вот! И хоть к первой к ней подошел с приглашением, решила наказать его, покуражиться.

Нюшка достала свечу, установила, зажгла, подумала, подрезала фитиль, загадала – в какую сторону наклонится. Вспоминая Кира, прыснула смехом. А испужался-то как! Глаза молящие, покорные. Сам так и стелется. Погоди, то ли будет! Это тебе за лето.

Летом на покосе по Туломе-реке раздолье. В обед, когда, бывает, постоят жаркие дни, девки и бабы купаться – табуном. После плели венки, пели песни, судачили об осенних свадьбах, сплетничали. Откуда-то прикатился слух: женится осенью Кир на купеческой дочке, архангельской.

Девки, заводя разговор в присутствии Нюшки, обряжали молву подробностями: собирается-де старый Герасимов в Архангельск, к будущей родне на смотрины. Нюшка, слушающая разговоры, смеялась, задрав голову, звонко, раскатисто. Подружки терялись в догадках: иль вправду все одно ей?

В Коле Герасимов при встречах светлел лицом, здоровался с Нюшкой приветливо, делился заботами о пропавшем Кире. Нюшка проведала без труда: в Архангельск Герасимов не собирался. Но досада на Кира не проходила. Мог бы хоть отцу послать весточку.

Нюшка сняла с себя передник, разглядывая шитье, хмыкнула тоненько: девки на вечёрке глаз с передника не сводили – зависть! Разложила на столе передник, отошла, любуясь, напевала любимую с лета частушку:

Всё еще изменится, погода переменится.

Всё равно он будет мой, никуда не денется.

Закусив губу, ходила по светелке в раздумье, не зная, на что решиться, и как была – в одежде – бросилась навзничь на кровать, смотрела на свечку. Горит ровно, медленно. Фитиль прямо. Пока наклонится, долго ждать. Тихо в комнате. За окном гудит, хлещется ветер, рвет на крыше флюгарку. Нюшка

представила, как холодно в темноте, под дождем. Вспомнила, как на вечёрке простилась с Киром, молча, одними глазами. Подумала, что все равно это должно случиться. Потянулась истомой. Тело ленивое. Пусть Кир думает – соблазнил ее. Флюгарка на крыше металась, стрекотала, плакалась. Нюшка усмехнулась: холодище там. Встала порывисто, спустилась вниз, в сенцы, зажгла фонарь. Постояла в раздумье и смятении, вскинув голову, пошла во двор, к задней воротине. Засов отодвинула сразу, решительно.

Ветер рванул, распахнул воротину: холодный, сырой, заметался, гася фонарь, обтянул сарафаном ноги.

Из темноты в свет фонаря шагнул Кир. Мокрый, продрогший, смеясь глазами, протянул узелок, сказал:

– Я подарки тебе принес, Нюша...

Далеко за полночь провожал своих гостей Шешелов. Он был доволен, что ближе узнал их. Да, он обещает: о разговоре никто знать не будет. Да, кое-какие меры они примут совместно. У него, Шешелова, есть кому написать в Петербург. Он спросит, он узнает, как получилось, что Россия потеряла землю. Уж если идти к царю, нужно знать больше.

Странные чувства испытывал Шешелов после ухода колян. Ему было стыдно за себя. Боже, какой он сидел важный, надутый в своем новом мундире! Он считал себя более образованным, он был городничим. Ему преподали хороший урок. Оказалось, он ничего не знает.

Старики ушли. Он с наслаждением закурил трубку, удобнее уселся в кресло, вытянул ноги. Спать не хотелось.

В памяти еще стоял разговор с колянами. Как получилось, что он стал доверительным? Да, он, Шешелов, нашел верный тон и рад этому. Такие люди!

Они пили чай и говорили, о чем болела душа, что много лет таилось под спудом.

«Отданное Галяминым – наше, русское, прадедами отво-
еванное и обжитое, их кровью политое». Уже давно ничто так его не захватывало. Шешелов слушал с жадным интересом, и это еще больше располагало их к откровенности. «На той стороне народ крещеный остался. И сколько бы ни порол

исправник – шепчутся прихожане недовольно, таят в сердцах обиду кровную и сомнения. Нечистое дело тут покрывается. Дети взрослые стали, спрашивают. А как объяснишь, что есть правда, о которой молчать велено?!»

Шешелов рассматривал колян. Судьбы и характеры разные, а боль и досада одинаковы. Что их объединяет? Интересы земли?

«Чтоб правда о сем не умерла с нами, добьемся к помазаннику, упадем в ноги. Мы из живых свидетелей последние». «И старые, чтоб наказания бояться».

И он слушает, он разделяет их чувства. Нельзя бесконечно молчать про это, нельзя. Добиться аудиенции – придумано хорошо.

И он загорелся: он должен помочь им. Он напишет кому следует, выяснит и узнает. Он научит их действовать. Он здесь городничий. Это его касается.

Трубка погасла, набивать ее вновь не хотелось. Он устал, пора отдыхать. Завтра он напишет письма. Он узнает, что случилось с границей и почему исправник заставляет молчать обо всем этом. Кому-то, выходит, нужно, чтоб молчали. А вдруг – государю?

И снова Шешелов потянулся к трубке. Не поторопился ли он с обещаниями? Не слишком ли поддался настроению? Стоит ли ему вмешиваться? Он хотя и городничий, однако сослан. Репутация его подмочена. Когда находишься на краю земли, нельзя рваться вперед с завязанными глазами. А он

оказался именно на краю земли. Разве мало ему прошлых уроков?

Когда здесь были коляне, он разделял их убеждения. Вздор! Всякая убежденность покоряет. Он был покорен.

Они симпатичны ему знаниями, которых он не имеет, убежденностью. Но он должен быть разборчив и осторожен. Вмешиваться в случай с границей – вставать на чьем-то пути. Господи, как все похоже! Опять слова о гражданском долге, о пользе народа, земли русской.

Опять столкновение с властью. Что это даст? Ночи без сна, страх ожидания, допросы...

К черту долги, слова, теории! Он хочет покоя! У него есть книги, есть коллекция. Они заменяют ему и политику, и светские развлечения, и друзей. Он не хочет слышать о политике.

Горячиться, однако, не следует. Он должен обдумать все здраво, трезво. Конечно, потерянная земля для колян – реальность. И хотелось себя ругнуть: испугался, потому что почуял опасность? Как и тогда? Недовольно поворочался в кресле. Это «тогда» он не любил помнить. Думал: перед собой он прав. Тогда он увидел опасность раньше других, отошел и тем спасся. Не такие ломались. Изменил своим убеждениям Достоевский – ум! А он маленький человек.

Шешелов давно придумал себе это оправдание и находил в нем утешение. А Петрашевский не сдался, до сих пор не сдался...

В огромных часах шевельнулись пружины и певуче пробили три раза. Встревоженные, улеглись ворчливо, и снова тишину нарушал только сонный шаг маятника. Печка остыла, и от окон полз холод. Заныли от давнего ревматизма ноги. Шешелов оглядел кабинет. Портреты царской фамилии на стенах. Огромный стол и тяжелый трехсвечник. Цветастые портьеры, новый мундир городничего. Выколотил потухшую трубку, вздохнул. Господи, какая глупая и ненужная бутафория! Граница, поморы, власть, страх. Он старый и больной человек. Захотелось пожаловаться кому-нибудь, рассказать откровенно, что жизнь прошла, что много лет рядом нет близкого человека, а одиночество так тоскливо. У него нет сил разобраться в случившемся. Он чувствует, что может поступить не так, как нужно. Ему захотелось в тепло кровати. Закрыться там с головой одеялом и все-все забыть.

И уже в постели вспомнил своих гостей еще раз. А с ними ему было хорошо. Давно на душе не было так спокойно. Где же он знал подобное? Да, да. Подобное было тогда. В то время он уже кое-что понимал в книгах. Там он смог познакомиться с литературными обзорами Белинского, с герценовским романом «Кто виноват?», там он следил за обновленным «Современником», с упоением читал первые рассказы Тургенева и замечательные письма Мамотина... Какое было прекрасное время! Расцвет таких дарований! Рождение натуральной школы. Да только ли это?

Он и тогда уже был немолод, но какую удивительную лег-

кость и подъем сил ощущал он! Прочитав за ночь книгу, со светлой головой шел на службу.

Да, служба, служба... В ней прошла жизнь. Она была смыслом жизни. Ложась спать, думал о службе, она снилась ночью, и, просыпаясь, он с огорчением вспоминал о том, что им еще не сделано.

Он появлялся в казарме задолго до подъема и наводил порядок. Часто маршировал с солдатами. Знал, его усердие видят, старания оценят. И он старался. Он хорошо командовал своими солдатами. Но у него не было друзей. Иногда где-нибудь на учении он направлялся к только что смеявшимся весело офицерам, он тоже хотел шутить и смеяться. Но при нем замолкали. Круг перед ним смыкался.

А когда-то были друзья. Его любили солдаты за товарищество, командиры за удаль и молодечество. Служба была не только тяжелым крестом, но и радостью.

Пришло время, он получил офицерский чин. Все силы он вкладывал, чтобы равным войти в этот заманчивый круг избранных, что, казалось, должен сейчас открыться для него. Он продвигался по службе, но с ростом в чине ничего не менялось. Он стал майором, но так и не смог попасть в этот всю жизнь стоявший перед его глазами круг. Сколько же лет потребовалось, чтобы понять, что никогда он туда не попадет, что суть не в чине – в безродности! Другие могли уйти в отставку, жить обеспеченно. Ему уходить было некуда. Состояния он не нажил, своим в офицерской среде стал только

формально.

Да, все это он понял раньше, чем стал майором, но не хотел себе в этом признаться. Он гордился своим положением, тем, что солдатский сын вышел в люди. Но былой интерес к службе пропал, все чаще стала им овладевать хандра. Может, поэтому он ухватился с радостью за петрашевские «пятницы»? Нет, об этом он думать не будет. Не хочет.

Под одеялом было душно. Он долго ворочался, голова на подушке никак не могла улечься. «По ночам совесть покоя не дает, – говорил старый Герасимов, – думаешь, все думаешь». Вот и кояне его растревожили. Хотел узнать одно, а вышло...

Что же он хотел понять в них? Да, да. Что заставляет их так болеть об этом деле? Ведь знают: жизнь на исходе, скоро умирать, а собрались к царю: «Не боимся наказаний». Петрашевский тоже не боялся. Господи, что это за сила – убежденность? Что можно ей противопоставить?

Шешелов лег на спину, натянул одеяло до подбородка, глядел и глядел в темноту.

...На плац-парадное место Семеновского гвардейского полка караул не пускал посторонних, и народ грудился на валу. Утро было пасмурное, промозглое. Неведомыми путями слух прошел по Петербургу, и толпа на валу росла, стояла недвижно и терпеливо, ждала молча. На плацу высокий помост с перилами, а рядом – одиноко вкопанные столбы. Свежая земля комьями чернела на снегу. У костра грелся палач. С трех сторон помоста разворачивались подходившие войска. В морозной тишине тяжелый шаг солдат и слова команды.

У Шешелова уже лежало в кармане предписание в Архангельск, он направлен в Колу, он давно обязан был ехать, но сказался больным и все оттягивал свой отъезд.

– Везут! – ударило по толпе, и ее качнуло. Шешелов напрягся, оттолкнул какого-то жителя петербургского в лисьей шапке и протиснулся в первый ряд.

Их высаживали из тюремных карет каждого под конвоем двух солдат. Толпа напирала, теснила, но Шешелов все же видел их: Достоевский, Спешнев, Дуров, Петрашевский... Господи, сколько прошло с тех пор? Какие страшные, худые лица! Когда все это началось? Шесть, семь? Да, да, восемь месяцев назад, и каждый сидел в одиночке.

Их построили и повели вдоль рядов солдат: ритуал позо-

ра. Поп в длинной рясе замыкал шествие. Солдаты опускали глаза. Молчание – погребальное. Под ногами скрипел снег.

Затем их построили на эшафоте. Петрашевский стоял впереди. Со всех сняли шапки. Военный аудитор читал приговор сената. Площадь замерла и перестала дышать. Тишина была зловещей. Аудитор читал приговор каждому. На площадь падали слова, ударяли по толпе эхом. «Расстрелянием... расстрелянием... расстрелянием...»

Было слышно, как в костре потрескивали дрова. Толпа в ужасе косилась на врытые столбы.

Поп начал с Петрашевского и обходил всех, гнусаво призывал к исповеди и покаянию. Никто не каялся. От исповеди отказались.

Осужденные стали прощаться, Достоевский подошел к Спешневу, и Шешелов слышал, как по-французски он негромко сказал: «Мы будем вместе с Христом» – и как усмехнулся Спешнев: «...горстью праха...»

С Петрашевского, Момбелли и Григорьева палач снял верхнюю одежду, натянул на них смертные балахоны. Этих троих первыми повели к столбам. Они спускались с эшафота, и до толпы донеслись слова: «Каковы мы в этих одеяниях?»

Господи, они еще шутили!

Толпа не шевелилась. Тысячи глаз следили, как палач привязывал смертников к столбам, как против каждого выстраивались пятнадцать солдат с ружьями.

Момбелли скрестил руки на груди. Его так и привязали. Григорьев вытащил из савана руки и перекрестился. Петрашевский стоял спокойно. Последние приготовления. Солдатам подали команду заряжать. Палач обошел смертников и опустил на глаза колпаки. В ледящей тишине отчетливо прозвучал голос Петрашевского: «Момбелли, поднимите выше ноги, а то с насморком придете в царство небесное».

Шешелова трясло. Знакомая за последнее время, бросающая в пот, дрожь страха: он мог бы оказаться там, с ними.

Когда дело петрашевцев всплыло, в жандармское управление вызывали и его. На допросе он показал, что поддерживает знакомство с Петрашевским и ценит его расположение только из-за книг. Без него он не имел бы возможности прочесть многие из них. Это было действительностью. Он не лгал.

Когда он понял, что литературный кружок Петрашевского превращается в политический, он насторожился. Стал больше молчать и слушать, высказывался редко и неопределенно. Он слишком хорошо помнил декабристов, не забыл, чем это кончилось.

На следующих допросах он показаний своих не менял. Да, он читал Леру, Фурье, Прудона, Штрауса и многих других социалистов. Но эти идеи чужды ему. В социализм он не верит. Власть монарха считает единственно разумной. Нет, о прочитанном он ни с кем не беседовал. Он тогда просто пе-

рестал бывать у Петрашевского. Кто что говорил на «пятницах» – он не помнит за давностью. И ненавидел сидящего перед ним жандармского офицера, и боялся его до коликов в животе.

После допросов ворочался по ночам в кровати, взбивал подушку, ложился, снова вставал, ходил, курил, ждал – вот-вот арестуют. Только теперь понял, какая опасность над ним нависла. Чувствовал: ему, как и другим, пощады не будет.

После одной особенно бессонной ночи не выдержал напряжения томительной неизвестности, решил конца следствия не ждать. Добился приема к своему давнему благодетелю, до мелочей поведал свою историю дружбы с петрашевцами, просил помощи.

И завертелось другое жизненное колесо в его судьбе. Со сказочной быстротой следовало одно событие за другим. Его избавили от ареста, помогли уйти в отставку и, что было уже совсем неожиданным, дали назначение на должность, а точнее – выслали из Петербурга.

Да, он сейчас мог быть с ними. Стоять вон там в смертном балахоне.

...На площади все вдруг пришло в движение. Аудитор подал команду, и солдаты опустили ружья. Палач быстро отвязал смертников и привел их на эшафот. Аудитор читал государев указ, которым смертная казнь была заменена каторгой. Еще никто не понял, что случилось, не успел поверить в спасение, а тишину прервал желчным голосом Петрашевский:

– Вечно со своими неуместными экспромтами!

– Кто просил?! – раздраженно крикнул Дуров.

Петрашевского тут же стали заковывать в кандалы.

Но он отстранил палача, сел на помосте и сам заколачивал на себе кандалы. Потом уже, гремя ими, обошел всех своих, каждого обнял, прощаясь: его одного увозили на вечную каторгу прямо с эшафота.

Шешелов уехал в Колу с намерением не приближаться к политике. Жил тихо, занимался своей коллекцией – и вот, на тебе! Бесхарактерный трус! Никогда не имел убеждений. В душе поднималась глухая злоба. Он противен себе. Где бы ни жил он после войны, везде оставался чужим. Все имеют какую-то цель, привязанность, и только он, Шешелов, для всех белая ворона. Он мечтал о карьере, но не вошел в круг офицерства. С мещанами не дружил, боялся уронить свое достоинство. У петрашевцев увидел опасность и попятился. Другие за убеждения пошли на казнь, он от страха не смел шевельнуться. Теперь считал, что его коллекция – единственно возможное для него занятие. А тут приходят поморы – их больше смерти тревожит тайна передвинутой границы. Восемьсот верст земли. Для живущих здесь это не отвлеченность, а жизненная необходимость. Петрашевцы и эти поморы. Да, да. Такие люди нужны России. С убеждениями.

И, недовольный собой, ворочался в кровати.

Он чиновник. Ему не потерять бы достигнутого. Боже

упаси провиниться! Он не может не дорожить благополучием. Из низов вышел.

И оправдывался перед собой: ведь всегда старался быть честным. Никогда не подставлял под удар другого. А с границей кто-то решил подставить его под удар. Но ничего, он восстановит граничные знаки, и снова установится тишина лет на тридцать...

В окна порывами бился ветер, упруго жался к стеклам, словно искал щели. Вновь подумалось о тайне нелепо потерянной земли, что тревожила умы кольских старожилов. «Такую обиду не могут забыть коляне», – говорил благочинный.

Нет, Шешелов не имеет права молчать. Он лучше других знает, как действовать, и должен писать. Он не хочет бездумно исполнять чужую волю. И ставить пограничные знаки не будет. Он останется честным. Покрывать галяминские плутни он не желает.

Суровые в Коле нравы. Совместные прогулки парней и девушек запрещены, и даже на вечёрках, где парни и девушки не сидят рядом, общие разговоры не допускаются: и танцы, и частушки под строгим присмотром кумушек. Но зато распространен на всем берегу своеобразный обычай-беседа.

В долгие зимние и осенние вечера, окончив дневные хлопоты, утомилась и улеглась спать семья. А девушка, принарядившись, садится в своей светелке с какой-нибудь чистой работой. И к ней на огонек, на беседу, заходят парни-беседники. Поэтому и поют в своих песнях поморские девушки: мол, не гуляли они с милым, а сидели с беседником.

Под утро лишь, как прокричали вторые петухи, ушел Кир. Нюшка проводила его, закрыла воротину, огляделась: не видал ли кто? Был, ушел. Знать про то никому не надобно. Возвращалась в светелку тихим шагом; меж бровей складка, на душе разладица.

С Нюшкой Кир был нетерпелив, жаден, горяч. Потом о плаванье своем рассказывал неумолчно. Умом Нюшка его понимала: есть чем похвалиться. Но все казалось – не о том разговор.

Перед уходом Кир оглядел передник ее, стеклярусом шитый, и забрал с собою, унес залогом. Уходя, целовал ее, обнимал, шептал, что на святки пришлет сватов. До великого

поста сыграют свадьбу. Нюшка молчала и не противилась. Все так и должно быть. Похоже на «так». А теперь, вспоминая встречу, досадовала. Иной какой-то стал Кир, напористый. Все сам решил. Будто не помор, а покоритель заморский. Как в награду себе взял залог, сказал, чтоб готовилась, будет свадьба. Подумаешь, одолжение сделал.

Не по нраву Нюшке такая самоуверенность, недовольна она собой. Что вдруг стала она покорной такой, податливой? С чего бы это?

В светелке на столе коптила свеча. Было угарно, сонно. Нюшка разулась, прошла босыми ногами по тканым половикам, приоткрыла створку оконной рамы. На сундуке остался узелок с подарками Кира. Подумав, развязала, отнесла на стол, разглядывала. Платок большой, шелковый, узорный, с кистями длинными. Развернула, накинула на плечо. Хорош платок. Еще шелк васильковый на сарафан, а в нем бусы положены. В Нюшке восторгом, радостью отдалось: угодил Кир, порадовал. На диво хороши бусы. К сарафану и глазам Нюшкиным аккурат будут. Удивилась: откуда чутье такое?

Унесла свечку на комод, к зеркалу, примеряла к себе платок цветастый, шелк васильковый, бусы... А чего же не попросил Кир посмотреть, каковы ей обновки будут?

Но обида на Кира уже улеглась. Любуясь собой в зеркале, Нюшка допытывалась у себя: чем она недовольна? Что Кир обещал сватов послать и не спросил на свадьбу согласия? А

разве она отказала бы? Разве и так не жених он ей? Зачем нужно, чтобы просил он, уговаривал?

Нюшка открыла сундук. Пружины у замка поющие. Сундук большой, добротный, кованный железом. Укладывала аккуратно подарки Кира, наряды с вечерки. Опять стало беспокойно. Не было ее передника. Унес Кир. Теперь его сватам никто не откажет. И родные Нюшки, узнав, что залог у Кира, в жисть отказать не смогут. Иначе... Бабуся рассказывала. В ее молодости был случай в Коле. Отказали сватам родители. Жених привязал залог к оленьей упряжке, разъехал по Коле, надругиваясь. Позорище... Нюшка вздрогнула телом. Фу, напасть! У нее так не будет. Супротив воли Нюшкиной и родители, живы были бы, – не пошли, не отказали б Киру. Дом его почитается. Живут исстари дружно. С радостью породнятся. Да и обычаи рушить не станут. И мать, и бабуся по любви выходили.

Нюшка повеселела, закрыла сундук, разделась до нательного креста, оглядела себя нагую придиричиво: ничего, ладная. Наливая из кринки воду на полотенце, вполголоса напевала весело и беззаботно:

*Мои щечки, как цветочки, глазки – черный чернослив.
Как возьмет беседник замуж, будет навеки счастлив.*

Деловито протерлась мокрым полотенцем вся, до красноты. Накинула рубашку, забралась в постель. Чувствовала се-

бля успокоенной, ленивой, сытой.

Конечно, думала, жаль передника. Один раз лишь надеть успела. На вечерках теперь пойдут толки: нет стеклярусного передника. Обязательно кто-нибудь показать попросит. Узор снять или еще что. Она, конечно, придумает, что ответить.

Впрочем, пересуды и раньше Нюшку мало тревожили, а теперь и подавно. Кир взял залог, будет свадьба. Впереди все, как день погожий, безоблачно.

Нюшка забросила руки за голову, напевала про себя удовлетворенно, устало. Расплетут Нюшке косу, сменят кокошник на повойник, и уж не девка будет она, а баба-молодайка. Посмеялась про себя: «Жаль, косу расплестать нельзя Граньке поручить».

После свадьбы у Нюшки другие дела, заботы и подружки будут. Сразу же, через три дня, должна устроить она беседу женскую. Все бабы замужние, приглашены или нет, могут к ней на чай-пирог явиться. Поклон молодухе сделать, угощения откусать, а потом каждая к себе пригласить обязана: беседу устроить, попотчевать.

Нюшка прикидывала, с кем из баб после свадьбы подружиться. Прошлый год вышла замуж ее подружка. Свадьба была шумная. Народу – вся Кола. Мужики с ружьями. От церкви свадебный поезд выстрелами сопровождали. Пальба до самого дома шла. У ворот, для тех, кто в дом не попал, водка в бочонках была выставлена...

Ветер за стеной стих. Флюгарка на крыше умолкла. Стало слышно, как внизу, на кухне кто-то ходит. Видать, по хозяйству встала бабуся. Надо топить печь, готовить пойло скоту. Нюшке вставать не хочется. Ей, пожалуй, простят сегодня. Потянулась успокоенным, ленивым телом. Бабуся о Граньке настораживала... Гранька? Смешно! Мысли текли приятные, сонные. Заснула Нюшка, улыбаясь.

Кир заявился домой под утро; спал недолго, но сны видел хорошие, в прибыль, Проснувшись, лежал, стараясь вспомнить, что же такое светлое ему виделось. И вспомнил радостно: «Не сон – Нюшка, награда моя».

В светелке не успела она и фонарь задуть, Кир обнял, поднял ее на руки, прижал к себе и целовал безотрывно губы ее, шею, глаза.

– Тихо ты, – смеялась шепотом Нюшка.

Но ласковая ее податливость дурманом кружила голову: не до оглядок.

– От тебя парным молоком пахнет, – шептал Кир.

У Нюшки на запрокинутом лице блестели смехом глаза.

– Ага, из сливок я.

Кир целовал ее смеющийся рот. Из ярких губ горячее дыхание. На его шее ласковость ее рук. Он понес ее от двери.

– А фонарь, – Нюшка смеялась, – фонарь кто задует?

Вкус ее губ, горячих, порывистых, и сейчас ощутим был. Кир вынул из-под подушки ее передник, разглядывал узор, шитый стеклярусом: «Гляди, какая мастерица! И отдала залог, не препятствовала. Нюша... Свадьбу сделаем на всю Колу».

Сунул передник под подушку, расправляя грудь, потянулся с хрустом: хорошо-то все как! Дома в кровати – не на шху-

не мыкаться. Не дует, не качает, тихо.

От сна осталось ощущение счастья, но жизнь была лучше снов: удачное плавание, вечерка, Нюшка. Кир спрыгнул легко с кровати, стал одеваться. Тело отдохнувшее, будто сутки спал. В доме тишина. Маятник постукивает. Отца дома нет. Конечно, вчера Кир напрасно был крутоват с ними, помягче впредь надо. Но и старики хороши: уперлись на своем, не сдвинуть.

Позавтракал всухомятку, принарядился. Заметил на кухне – ключей от амбаров на гвозде нет. Постоял за воротами в недоумении. Зачем отец мог в амбары пойти? Ждать его, нет ли?

На улице тихо, пусто. Знать, коляне снова на берегу, встречают промышленников. А шхуна вчера у причала осталась, мешать там будет. И решил не ждать отца, сходить на берег, послать кого-нибудь за командой: ветер с севера в прилив – самое время судно в туломский створ отвести.

По дороге к причалу думал: распогодится – завтра на побережье идти надо. Оставить по становищам соль к лету. Весною развозом ее заниматься некогда. И вспомнил, говорил же ему Степан Митрич: давай завезем сразу. Под приглядом лопарям оставим. Но сил и желания на крюк к Восточному Мурману не хватило. Хотелось быстрее попасть домой.

В крепости и правда народу множество. Поморы рыбу соленую, мешки с мукою, припасы всякие носят с берега, от шняк, укладывают в амбары. Кир здоровался с земляками,

то и дело поднимал картуз. С Восточным Мурманом, думал, надо управляться не мешкая и команду рассчитывать. Может, кто на осеннюю семгу идти вздумает или на зимние промыслы подражаться, пусть идет. При шхуне одного человека оставить – доглядывать да снасти чинить.

Шумно в крепости. Снуют ребятишки, галдят. Стараясь помочь, мешают, крутятся под ногами вместе с собаками. Колянки яруса для просушки развешивают, сети наживочные трясут, смотрят, чинить которые. Сами веселые, голоса громкие. Страдная пора. В такое время коляне меж собой счет не водят. Кто пришел с промысла, по-соседски всегда помогут. Верно, помощь-то общества, Кир это понимает, опять выходит прежде состоятельным людям – кормщику или промышленнику, которого судно. Да и то сказать, уважаемому человеку помочь каждый за честь считает. А бабы особенно. Работой крестьянской они в Коле не изнуренные, вон какие гладкие собой да игривые.

– Здравствуйте, Кир Игнатыч! – глаза у молодаяк озорством так и брызжут. – Помог бы нам в трудностях бабьих...

– Бог поможет! – смеялся, проходя, Кир.

– Ты на них реже взглядывай. Не только силу – кровушку до остатка выпьют.

Кир оглянулся. Нагонял его дядька Матвей, писарь из ратуши, по прозвищу Шлеп-Нога. Был он ровесник отца, но вид имел моложавый, жил вдовцом и, несмотря на возраст, по бобылкам, говорят, хаживал.

– То-то, гляжу, усох за лето дядя Матвей. Не мягко, видеть, на чужих перинах? – пошутил Кир.

– Сухота одна. Здравствуй, Кир Игнатыч! – И первым подал цепкую сухую руку.

– Здравствуйте, дядя Матвей! – почтительно отозвался Кир. – Ого, есть в руках сила!

– Есть еще, – согласился писарь. – Я смотрю – давеча шхунку вашу погнал Степан в Тулому, а тебя нет. Спрашиваю: куда кормщика дели? Загулял, говорят. А ты, гляжу, тверезый никак?

«Митрич? Погнал шхуну в Тулому? Зачем?» – соображал Кир. Вспомнилось: язык у писаря острый, язвительный. Ради смеха может такую шутку сыграть – коляне потом давиться будут от хохота. Сказывают, играли девки весною на улице, глядь – идет писарь, хромает, торопится. Девки поддразнивают его: «Дядя Матвей! Иди, пошутить с нами, поиграй в горелки». Он им: «Некогда, девки. У причала шняка с солью тонет. Спасать надо. Соль растает». Девки всполошились, бегом на берег, а до него добрая верста будет. Прибежали запыхавшись – никакой шняки. Рассерженные нашли писаря, а он смеется: «Сами же пошутить просили».

– Да, загулял малость, – осторожно ответил Кир.

– Где же так? В кабаке тебя вчера не было.

Взгляд у писаря, как бурав: так и лезет в нутро самое. Уж не про Ньюшку ли что повыведал? Пронеси господи.

– Думали, к вечеру зайдешь в кабак-то, – продолжал пи-

сарь. – Народ к твоему плаванию интерес имеет.

Кир облегченно перевел дух:

– Приду еще, дядь Матвей.

– Седни к обеду?

– Приду обязательно, – с удовольствием пообещал Кир.

– Ладно, коли. Не обмани, часом.

Выйдя из ворот крепости, Кир сразу увидел: шхуны вправду нет у причала. Зачем Митрич увел ее в Тулому без спроса? Ну, погоди, всыплю за самовольство! И, минуя крепость, пошел вдоль Колы-реки, на мыс, к туломскому берегу. Настроение от встречи с дядей Матвеем поднялось. Если уж он интересуется плаванием – хороший признак.

Был писарь одним из тех колян, с кем Киру надо говорить о своих замыслах в первую очередь. Шишковатая голова Матвея не зря на плечи посажена – одной из умнейших в Коле считается. И деньги у него водятся. Сколько помнит Кир, писарь четыре-пять шняк обряжал ежегодно в покрут.

Шхуна стояла в Туломе, теснила к отрубистому, крутому берегу поморские лоды и шняки. Паруса убраны. Пока подходил Кир, определил: команда вся собрана, разгружает судно в амбары. Что они, с ума посходили? И подкрадывалось ощущение тревоги.

Распоряжался выгрузкой Степан Митрич, а поодаль, на отрубе, стоял, опираясь на трость, отец. Сдерживая недовольство, Кир подошел, здороваясь.

– Здравствуй, Кирушка!

– Ты велел разгрузать?

– Я, Кирушка, я.

– Зачем? Соль завтра надо на Мурман везти. Ею по весне заниматься некогда.

– Сейчас есть другие заботы, Кирушка.

– Какие?

– Степан Митрич хлеб повезет к норвегам. Оттуда рыбу возьмет в Архангельск. Поутру купцы приходили с просьбой.

Голос у отца мягкий, а говорит так, будто вчера вместе решили все и теперь поздно вспять поворачивать. Неприятно кольнуло воспоминание: «Неужто и впрямь решил проучить меня, послать на судне работником? Круто что-то для одного разговора. Норов, однако, и у меня есть. Не зук я».

Сказал негромко:

– Я со Степаном Митричем не пойду.

– Не неволю, – согласился отец.

Степан Митрич заметил со шхуны Кира, поднял руку, приветствуя:

– Коршику – мое почтение!

– Здравствуй, Митрич! – настроение Кира стало падать.

– Разговор не для этого места, Кирушка. Дома поговорим.

Отдыхай пока.

«Ласково отец гонит», – подумал Кир.

– Что ж, пойду, коли велишь.

– Иди.

Степан Митрич шумнул со шхуны:

– Игнатыч! Зайди в кабак к вечеру.

Кир, уходя, оглянулся. Ребята носили со шхуны рогожные мешки с солью. На Кировом месте, у мачты, стоял Степан Митрич. На душе стало как в заброшенном доме: стекла по-выбиты, ветер носит сор по углам.

Митричу Кир согласно кивнул:

– Зайду.

По Коле шел тихими закоулками, чтобы меньше народу встретить. Казалось, все знают уже: старый Герасимов посылает сына в работники. Ловко! Ловко отец вышиб из-под ног почву. И встать не на что. Обида злая, от невозможности изменить все по-своему, застилала глаза. «Значит, отец не снес слов моих. За поношение принял, наказать решил. Эх, не шхуны ты меня лишаешь, – корни главные рубишь. Что я без судна, куда денусь? Все летит прахом».

Дома метался по горнице, от стены к стене ходил крупным шагом. Хотелось делать что-то немедленно. Что? Достал из шкафа бутылку граненую, налил в стакан водки, выпил, старался осмыслить все поспокойнее. «Может, еще одумается отец. Сказал же: поговорим дома. Хм! Надежду подал! Можно представить, о чем разговор будет! Благоразумию да покорности учить будешь? С судна убрал, теперь что – лишением наследства грозить станешь? За целую жизнь купил суденко и рад: не хуже людей живем! Эх, не о том печешься. Разве в этом только наследство? Я теперь сам знаю, как

жизнь строить, а ты меня на старинку все: живи, дескать, мирно, в делах не зарывайся, отца не суди... Привыкли сами молчать и другим, чуть голос прорезался, рот затыкаете: молчи, воле отца не перечь, делай, как велено».

Нет, дома сейчас оставаться нельзя. Если отец вернется – быть большому разладу. Не простит ему Кир обиды. Не только не смирится, а в сердцах не такое еще повыскажет. И достал из комода деньги, сунул в карман, по дороге в кабак думал об отце: «Не исполнится воля твоя, не увидишь меня покорным, в работниках! Уеду в Архангельск, наймусь к англичанину». И подсчитывал: «Матрос на Мурмане имеет в сезон пятьдесят рублей, шкипер – двести. А у англичанина за год матрос двести, а шкипер до тысячи серебром. Было время – не хотел под чужим флагом плавать, но уж если крайность придет – не переломлюсь и я, поплаваю. Такое наследство, как твое, отец, сам себе заработаю».

В кабаке пусто. Народ, видать, работой еще занят. Кабатчик Парамоныч чистоту и порядок навел, сидел, подперев щеки ладонями, ждал своего часа. «Тоже промышленник – выжидает». Кир сел в дальнем углу, спросил себе водки. Пил не закусывая – обида комом стояла в горле. Хмель разливался по телу, горячил мысли. Кир вспоминал, как взъярился отец, когда разговор о земле пошел. «Другие хоть что-то пытались сделать. Их хоть пороли за это». Кир не знает, было ли это правдой, но помнит, жил такой слух. Когда еще его и на свете не было, за строптивные разговоры о той земле поро-

ли кого-то в Коле. Будто бы дядю Матвея. А про отца такого не говорили. Что же он, опасался, в сторонке жил? Теперь упрек Кира обидой считает...

– Парамоныч! – окликнул Кир. – Ты должен помнить: дядю Матвея, писаря, пороли когда-нибудь? Давно-давно?

Парамоныч, не отрывая от щек ладоней, только глаза на Кира чуть-чуть скосил.

– Болтали в Коле такое. Но про Матвея – поклеп.

– А кого пороли? Не помнишь?

– Тех в живых нет уж. Да и не помню я этих дел.

«Ага, не помнишь. Было, выходит».

Дядька Матвей от дверей сразу заметил Киру, похромал к нему в угол.

– Парамоныч! Давай, что есть посытнее. Голоден нынче я. Да полштофика не забудь.

Кабатчик ожил, засуетился, принес трески вареной с яйцами и коровьим маслом, хлеб, водку. Постоял, скрестив на животе пальцы, намереваясь сесть около. Дядька Матвей насмешливо покосился:

– Все, родимый, иди.

Разливал по стаканам водку, говорил Киру:

– Тебя против утра что-то с лица свернуло. Или стряслось что? Давай-ка по полному: всю хворь враз снимет. Ну, здоров будь. За твое плавание!

Кир проглотил водку, не чувствуя горечи. «К чему теперь разговоры эти? Где моя шхуна? Что я без нее? Нищий! Денег

только на водку. И то сегодня. А завтра? Завтра я – нищий. И пусть! Не нужно такое наследство. Наймусь к любому купцу. Судно мне теперь всяк доверит».

Дядька Матвей тряс его за руку и все о чем-то расспрашивал. «Про что он? Какая столица, какие цены? Кто, куда шли?» Кир чувствовал, что пьянеет. «Родного сына в работники. Если бы ты, Шлеп-Нога, знал, за что. А ты тоже был здесь тогда. Сидел в ратуше и молчал. Ты тоже жил. Эх, не сказать бы вслух лишнего. А земля у Девкиной заводи? Нет теперь ее. Есть Варангер-фьорд. Никаких цен я не знаю. Ничего не скажу. Стекла все выбиты, по углам сор только, понял?»

Дядька Матвей, привалившись к столу, участливо спрашивал:

– Может, узнал, что беседница не тебя одного ждала? Плюнь!

«Не меня одного? Что он говорит? А вдруг правда – не стала бы Нюшка ждать? Взяла бы да с другим... О господи, ей-то теперь что скажу! Жених! Залог взял».

– Эко глаза печальные стали. Ровно корова из тебя глядит. «Дурак ты, Шлеп-Нога. Старый, а мысли о бабах только. На них и тратишь остатки дней. Впрочем, нет, не дурак. У тебя есть деньги. Интересно, что ты ответишь, если о замыслах рассказать? Твое мнение – мысли колян зажиточных. Должны же они выгоду видеть». Вдруг Шлеп-Нога поймет, согласится? Тогда отец на дело, может, взглянул иначе бы.

Но тому Кир рассказал достаточно. Вон чем кончилось. А с этим поосторожней надо, намеками. Пусть сам поймет. Мысли становились трезвее, собраннее.

– Скажи мне, дядя Матвей, почему норвежская рыба в Архангельске дороже твоей?

Вопрос был праздным. Ответ даже дети знали. Архангельск старался купить норвежскую рыбу. Солилась в Норвегах она отменно, вид и вкус сохраняла долго. Поэтому и цены не падали. А русские солили рыбу наполовину с золой. Портилась она скоро, впрок лежать не могла. Если же и поморам солить, как в Норвегии, то рыба не окупала затраты на соль.

Дядька Матвей перестал жевать, насторожился. Почуял – неспроста Кир разговор заводит.

– Молчишь?

– Понять хочу, куда клонишь.

– Не сразу. Скажи другое тогда: почему на Мурмане становища возникли там, где они сейчас есть? Ведь можно ловить рыбу в других местах. Есть гавани удобные, закрытые от непогод, с рыбой, – а не ловят же там.

– К чему тебе?

– Нет, ты ответь.

– Ясное дело. Где наживка водится, там и становища возникли.

– А где на всем Мурмане больше всего наживки? Самой лучшей наживки – мойвы – где обилие? Молчишь? Может,

боишься? Я скажу. За кордоном то место. В Девкиной заводи. И скажу, почему старики там и раньше мало ловили. Несподручно. В Архангельск с рыбою далеко. И обратно с солью не близко. Норвеги ведь не дают соли, верно?

– Так.

– И я – так, не про то. А вот о тебе. Если бы ты обряжал покрут на двадцать шняк. Скажи, выгодно ли было б тебе выделить две из них для ловли и развоза всем остальным готовой наживки? Чтобы восемнадцать ловили, не зная о ней заботы?

Глаза Шлеп-Ноги смеялись:

– Ишь ты куда загнул! Охватил умом. Ну допустим, выгодно.

Кир привалился-к столу, ближе к дядьке Матвею, говорил ему прямо в лицо:

– А теперь представь – сказка: восемнадцать шняк ловят рыбу, отрываясь лишь в непогоду. Наживка всегда в наличии. Соль – в достатке. Какая теперь забота?

– Сохранить.

– Амбары есть!

– Перевезти.

– Есть и шхуны!

– Продать?

– Прода-ать! Так вот, продать хорошую рыбу втрое дороже, чем в Архангельске, и купить соль в пять раз дешевле можно в Санкт-Петербурге. Если ходить туда морем.

Дядька Матвей опустил глаза, потянулся рукой за полштофом.

– Хорошая сказка, Кир... Складная.

– Думаешь, я с ума сошел?

Опустив голову, писарь мимоходом глянул по сторонам.

– Не горячись, я понял. Новое становище в тихой гавани с обилием наживки и свободным ото льдов морем?

Чуть удивленный, Кир отстранился. Быстро раскусил писарь. Таиться дальше не было смысла.

– Так!

– Компания из колян в Девкиной заводи?

– Артель.

Дядька Матвей поднял на Кира глаза:

– Что ты знаешь о той земле?

– Знаю, что продана.

– Откуда знаешь?

– Из сказки.

Писарь чуть помолчал, усмехнулся:

– Как вернуть землю, в той сказке не сказано?

– Письмо от мира к царю...

Писарь задумчиво наливал водку в стаканы.

– И вправду, хорошая сказка, для раздумья.

Но Киру был нужен ответ определеннее. Мнение Шлеп-Ноги много значит. Видно станет, чего от других ждать.

– Ты не прячь глаза, договаривай.

У писаря взгляд исподлобья посерьезнел:

– Это все.

– Ты же ничего не сказал.

Шлеп-Нога рассмеялся:

– Зато ты сказал: это сказка. А по возрасту сказки я рассказывать должен. – И поднял свой стакан. – Давай лучше выпьем. Хватит нам сурьезности.

Но Кир взъерепенился: опять эта невидимая стена. И писарь туда же. Бочком, бочком да в сторонку. Ускользает из рук – не удержишь. Ясно уж, теперь, задави его, ничего не скажет. А башковит. О компаниях и земле с лету уловил. «Для раздумья! Тридцать лет почти минуло, а вы, старики, все думать собираетесь». И поднималась на Шлеп-Ногу злоба.

– Не хочу я с тобой пить, противно.

Лицо писаря на мгновение словно окаменело. Поставил стакан.

– Как знаешь.

Не спуская глаз с Кира, поднялся, медленно повторил: «Как знаешь», повернулся и заковылял к выходу.

Кир смотрел ему вслед. «Обиделся? Ну и поделом тебе. Молчал небось, когда продавали землю. И сейчас решил от молчаться?»

Залпом проглотив водку, Кир тупо смотрел в стакан. «Выпить я и один могу. Все вы, старики, шкуры».

Парамоныч за стойкой безучастно глядел на Кира. «Мош-кару поджидаешь, паук?» И поймал себя на мысли: что-то

всех ненавидеть стал. Значит, дела мой ой-ой-ой плохи.

Сулль, выйдя от исправника, порылся в карманах оленьей куртки, достал трубку, с высоты крыльца огляделся. Ветер покалывал холодком, сушил оставшуюся от ночного дождя слякоть, гнал по ней жухлые листья. Солнце клонилось к закату; низкое, тусклое, прячась за облаками, оно тянуло к варакам лучи, словно цепляясь, не хотело расставаться с холодной и неудобной землей.

Из кабака вывалили пьяные поморы. Ватагой горланили песню, шли в обнимку, задиристые, лихие.

Дым из трубы кабака, не поднимаясь, клонился книзу, предвещал потепление. Но ветер шел с залива, и в нем уже чуялась близость долгой зимы и полярной ночи. Приближалось время, которого томительно ждал Сулль. По зиме акулы подходят к берегам близко, за косяками рыбы и в залив идут.

Стоя на крыльце, Сулль проводил взглядом поморов, раскурил трубку и с ароматом табака вдыхал бодрящий холодный воздух. Дышалось легко. Бумага исправника с разрешением работать ссыльным у него, Сулля, лежала в кармане. Все складывалось удачно.

Исправник поначалу не хотел давать бумагу. Он мялся, хитрил, ссылался на запрещение. О, Сулль понял все правильно! Он без ошибки произнес те колдовские слова, которым научил его друг, один русский купец: «Вы будете до-

вольны...» Нет, слова нельзя переставлять. Их сила теряется. Суль, вспоминая, медленно повторил: «У меня есть скромные сбережения. Я умею быть благодарным. Вы будете довольны...» И рукой нужно в карман, за пазуху. Хороший жест. Хорошо стоят слова: «Вы будете довольны». Суль усмехнулся, качнул головой. О, исправник остался доволен! Суль подозревает, что дал многовато. Но он не жалеет. Что деньги? Ветер! Они еще будут у Суля, настоящие, большие. Русские говорят: длинные рубли.

Исправник пожелал дать бумагу, пожелал пить за успех Суля. Суль не любит пить днем много, но сегодня отступил от правила, и теперь он – как это по-русски? – навеселе. Ха-ха! Хорошо – навеселе! Ему есть с чего быть навеселе. Полоса невезения кончилась. Удача лежит у ног Суля, и он должен шагать по ней, шагать, шагать!

Суль засунул руки в карманы, спустился с крыльца, попыхивая трубкой, пошагал в кузню братьев Лоушкиных.

Кузня у братьев на самом краю города, у туломского берега. Выселенная, чтоб пожаров не делать, а сподручно стоит. Здесь братья и лесок по Туломе, с верховья, плавят, и уголь жгут в ямах. Тут и карбасы причаливают: кому поковки надо сделать. Работы у братьев хватает. В городе эти кузнецы считаются самые мастеровые. Всяк со своей надобностью сюда тянется. Кому тали для шхуны, ружье, капкан или замок исправить. Кому топор, нож добрый или багор отковать. Все мастерят братья.

...В кузне полутемно, угарно. Уголь, что ли, плохо выжженный, с древесиной?

У второй наковальни никого нет. В кузне только младший Лоушкин, Афанасий, да Андрей-ссылный, теперь его, Сулля, работник. Должен он тут до покрова в учении быть. На него Сулля возлагает чаяния. Чтоб к покрову научился Андрей владеть молотом играючи, бить без промаха.

Сулля пришел глянуть, как работает Андрей, как ладят меж собой давешние, по кабаку, недруги.

С приходом Сулля работа не прерывается. Сулля видит: истекает потом Андрей, бьет молотом усердно, старается. А получается плохо. Железо стылое уже, под ударами не поддается. Афанасий кладет полосу в горно, смотрит на Андрея снисходительно, глянув на Сулля, качает головой, разводит руками сокрушенно: что-де поделаешь, не может! И показывает не успевшему отдышаться Андрею на меха: иди качай, дескать.

Андрей за держак качает меха, раздувает огонь в горне, сам дышит, как олень загнанный. Рубаха мокрая, прилипла к телу.

От горна пламя дымное. С чего бы это? Уголь у братьев всегда сухой был, с черным отливом, не дымил сроду.

Андрей грязен весь, в копоту. У Лоушкина тоже лишь белки глаз да зубы в ощере белые. Помешивает в горне уголья, перекладывает железо, потирает руки. Сулля помнит, как упирался он, не желал брат в кузню Андрея-ссылного,

да старший брат уломал, не хотел отказать Суллю.

Мотнул Лоушкин головой, и Андрей бегом к наковальне. Хватки и расторопности Афанасию не занимать. Из горна на наковальню полоса железа: брызжет искрами звездными, так и пышет – успевай ковать. Но Суль видит: неровно полоса нагрета. Чуть с конца только прижег ее Лоушкин, а вся она еле красная. При таком нагреве не разбить ее враз дотонка, не загнуть в трубку.

Сулль, кажется, начинает понимать Лоушкина. А тому не безразлично, что Суль здесь. Бросает взгляд короткий, оценивающий. Узрит ли Суль затею его? Поймет ли, что и уголь негожий и железо холодное? Что мстит он ссыльному, зазря выматывает силы, не может простить кабака?

Суллю не по душе затея, но он молчит, не вмешивается. Ведь сам привел ссыльного, сам просил. И Суль делает приветливое лицо: он не понимает происходящего.

Согласно кивает головой Лоушкину, желает удачной работы. Смотрит, как, надрываясь, выбивается Андрей из сил. «Это ничего, – думает, – надо посмотреть, как вынослив лаптежник, насколько хватит его. Пусть потерпит. Все идет хорошо. Лоушкин хочет одолеть ссыльного. Хоть как-то унижить». Злорадство сладостно. Наполняет душу елеем, тешит. Пусть хитрость Лоушкина удастся. Гнев пройдет, и он стихнет. Все победители щедры.

Сулль смотрит, как бьет по железу Андрей. Холодное, не поддается оно. Молот отскакивает – трудно держать, отби-

вает руки. Пот с Андрея ручьем, мокрая рубаха от копоты черная. Сам взмыленный, губы сжаты, на Сулля не оглядывается. Знай лупит молотом, старается бить ровно.

И Сулля думает, что, пожалуй, до покрова научится Андрей держать молот, экономить силу, не задыхаться. Мозоли отвердеют, кожа станет грубой, руки перестанут бояться молота. Все идет хорошо. Пот – это ничего. Сколько надо, уйдет, не больше. Пусть работает. За этим Сулля и привел его. За это он платит деньги. Платит ссыльным, Лоушкиным, исправнику, всем. Пусть хитрость Афанасия удастся. Не теперешнее мученье ссыльного беспокоит Сулля. Он должен подумать, как подготовить, как научить не дрогнуть там, в море, когда из тьмы воды, как черт вздыбленный, подавись воздухом, распялит в судороге пасть акула... Сулля должен научить его удару в этот миг, когда шняку качает и под ногами нет твердой опоры.

Сулля должен предугадать, предвидеть. Ему нужна верная удача. Он знает, как Андрея учить лучше, но нужен совет братьев. Пожалуй, он пойдет к ним вечером. Афанасий здесь не советчик. Вишь, остыла полоса, а он не кладет ее в горно. Прохлаждаясь, постукивает молоточком легоньким: показывает, куда бить молотом ссыльному. «Злец! Злец!» – думает Сулля, но молчит, сует в карман потухшую трубку, поворачивается и уходит. Ему нужно на берег Колы, к причалу. Сулля должен смотреть, как работает там второй ссыльный.

Вернулся Сулль домой затемно. Нашарил в сенцах фонарь, вздул огонь, присел у трепетного огня закурить. День прошел в хлопотах. Сулль заказал поморскую одежду и обувь ссыльным, бочонки под ворвань, Андрею рубаху. День не зазря потрачен. Сулль получил у исправника разрешение, смотрел, как работает Андрей в кузне. Не ошибся Сулль в кабаке, разглядел парня. При случае он не должен дрогнуть. Вот только от хитростей Лоушкина не защищен. Про то Суллю подумать еще придется.

Второй ссыльный тоже хорошо работал. Когда Сулль пришел на берег, Смольков уже поставил на козлах котел, разогрел в нем смолу. Сулль оглядел втащенную на берег шняку, сам взял молоток и лопатку, придирчиво оголял старую заливку, показывал, где как нужно конопатить, заливать смолой. «Это надо так, надо хорошо. Понимаешь?»

Смольков оказался проворным, услужливым. Лебедку, снятую со шняки, оглядел с видом знатока, ощупал все быстрыми пальцами, проверил ход. Смотрел на Сулля преданными глазами, сказал, что лебедку необходимо смазать, защелку на малой шестерне менять – ось поистерлась.

Сулль оглядел все сам. Работа ссыльного ему нравилась. И соображал он быстро. Только лицо вот – как это по-русски? – нет покоя. Все чем-то тревожно. Беспокойное. Не верит, что

так скоро работа нашлась? В свою удачу?

Дверь в дом открылась. На пороге стала хозяйка. Удивленно смотрела на Сулля, присевшего у фонаря, спросила:

– Ужин-то собирать?

Есть хотелось. Хорошо бы, конечно, отужинать, с облегчением вытянуть ноги в постели. Но Сулль любит порядок и аккуратность. День еще не закончен. Ему необходимо идти к Лоушкиным. У него есть кое-какие мысли. Пока братья дома, он должен говорить с ними.

Сулль поднялся, схватил в руку фонарь. Нет, ужин не собирать, он должен идти.

На стук в ворота открыл старший из братьев, Никита. Поднял фонарь, осветил Сулля, позвал приветливо:

– Проходи, Сулль Иваныч, будем ужинать...

С чьей-то легкой руки к Суллю прилипло это «Иваныч», как и «Акуля Смерть». Сулль не возражает. Он знает: имя отца добавляют коляне только к имени уважаемого человека. Но почему именно Иваныч, Сулль не может понять.

– О, ужин – это хорошо!

Сулль любил это русское слово, произносил его чисто, с удовольствием. А сейчас особенно. Был он рад, что застал дома Никиту. Мужик ума размеренного, неторопливого. Ране овдовевший, был он в доме за старшего. А Суллю необходимо, чтоб за работой Андрея-ссылного были и глаз и слово Никиты. Кроме того, Сулль хочет заказать ему два клепика. По железу Никита маракует лучше: все тонкие и серьезные работы сам делает.

– Я был днем в кузня. Тебя там не видел...

– А-а... Нюшка намедни по морошку ходила. А нынче мы заливали ее. Бочонки парили. – И открыл двери, пропустил в дом Сулля. – Проходи. Фонарь-то ставь сюда, в угол.

Из дверей обдало парным духом снеди. Пахло рыбными пирогами, печеным хлебом.

Никита поставил фонарь на лавку, осветил медный руко-

мойник, сказал:

– Раздевайся, мой руки.

И шумнул в горницу:

– Нюшка, гость у нас, привечай!

Сулль вымыл руки. Нюшка поднесла ему белое полотенце и, смеясь глазами, сказала бойко:

– Опять, Сулль Иваныч, по делам, видно, пожаловали. А я все думаю – ко мне, может...

Нюшка похожа на бабушку свою, Анну Васильевну.

С незнакомыми держится строго, взгляд недоверчивый. А как узнает, может такую шутку выкинуть, что и разбитная молодайка не посмеет.

Нюшка засупонена в сарафан красный, с белой рубашкой, сама ладная такая. Движения рук плавные, не пустомеля, а вот поди ж ты. Вытирая руки, Сулль улыбнулся ей.

– Будя молоть-то, – нестрого сказал Никита. Положил на плечо Суллю руку. – Проходи в горницу...

Рука у Никиты теплая и тяжелая. Сила чувствуется. Сулль про себя отметил: эти братья сами будто нагоряче молотами скованы, крепкие.

Посередь большой горницы стол освещен свечами сальными. За столом Афанасий и Анна Васильевна. Старушка еще подвижности завидной. Несмотря на веселый нрав, сыновьями и домом правит. Она встала навстречу Суллю, с поясным поклоном чинно пригласила:

– Милости просим. Проходи, батюшко Сулль Иваныч, от-

кушай, что бог послал.

Суль покосился на православные иконы в красном углу, постоял, молча склонив голову, как бы помолился про себя, прошел к столу.

На столе большой, ведерный, изнывал жаром самовар. Суль знает: по осени, как наступают потемки, любят коляне вечеровать за столом семейно, подолгу баловать себя чаем.

Анна Васильевна угощала вареной треской с коровьим маслом, рыбными пирогами, шаньгами, морошкой. По случаю прихода гостя подала на стол баранки архангельские, покупные, и в особом кувшинчике – сливки. Чай налила Сулю в тонкий стакан, крутой заварки. У обедного шкафа дверки остались открытыми: для обзора посуды. Суль понял: не вся-де она на столе, еще есть. Наливая себе чай по-русски, в блюде, Суль откусил пирога, улыбнулся хозяйкиной хитрости. Вслух сказал:

– Очень вкусный пирог.

Анна Васильевна подвигала ему тарелки со снедью:

– Кушай, батюшко, вот сливки тут бери.

Суль ел аккуратно, старался не ронять крошки. Скатерть на столе чистая. Суль знает: даже в становищах, где по стенам копоть, помор без чистой столешницы за стол не сядет. Сулю нравится такое уважение к столу. Нравится и гордость гостеприимных хозяев – обилие посуды. Наливая сливки, похвалил:

– Хорошая чашка.

– Кушай на здоровье, – взгляд у Анны Васильевны ласковый, голос приветливый. – Зачастил ты к нам. Уж не Нюшка ли тебе приглянулась?

Лицо Нюшки оживилось. Свет пламени свечей золотил ее щеки:

– А то кто же? Жду вот: приглядится да посватает, может. Анна Васильевна мочила в своем стакане баранку, вздохнула притворно:

– Да, завидую тебе. За такого молодца можно пойти. Братья улыбались. Сулль принял шутку, согласно кивал.

– Да, да, – смотрел на Нюшку.

Русые волосы закрывают ушки – чуть видны серьги камня зеленого – и сходятся на затылке в косу. Хорошее лицо. Линии губ четкие. Верхняя, чуть припухлая, кажется немного насмешливой. Только нос вот тупой, славянский.

– Такой девушка, такой семья – жениться хорошо.

Он и вправду мог бы остаться в Коле. Построить дом, завести семью. Ему нравится здесь. Но он верит: потомство можно оставлять лишь там, где родился. И умирать каждый обязан там же. У человека должно быть непереступное: вера, земля.

– Ему сейчас не до женитьбы, – смеясь, сказал Никита. – Своих забот полон рот – дел невпроворот.

– Да, да, – смеялся и Сулль. – Сходим на акул, заработаем деньги, купим наряд красивый, часы с цепью, и тогда – жениться.

– Мне лопари нынче сказывали, – продолжал Никита, обращаясь к Суллю, – по зиме норвеги ваши за Святым Носом, говорят, штук двести акул набили. Вот повезло-то.

Сулль знает эти места, не раз проходил по пути к Поною. Ежегодно по весне, где-то в марте, со всего Поморья идут промышленники на Терский берег и на Восточный Мурман бить тюленей. Пока еще держатся льды, бьют большие стада, снимают шкуры, забирают сало, а мясо бросают в море. Места эти для акул лакомые. В Норвегии близко к земле таких мест нет. Но Сулль знает и другое: бить акул охотников везде мало.

Ответил Никите:

– Не надо – повезло. Надо говорить: умеют добыть.

– Да, умеют, – согласился Никита. – Поморы тоже жаловались: акулы много нынче вреда чинили им. И рыбу на ярусах выедали, и яруса рвали.

– Нынче на Кильдин или на Канин идти мыслишь? – вступил в разговор Афанасий.

– Не знаю, – уклончиво ответил Сулль, – надо смотреть.

– А что, батюшко Сулль Иваныч, у тебя, сказывают, ссыльные-то к морю необыкшие. Неизвестно, что за люди.

– Не боязно тебе сними идти на промысел? – спросила Анна Васильевна.

Конечно, думал Сулль, разговоры в Коле будут: с кем Сулль – Акуля Смерть пошел в море? Всякие языки есть. Но он сомневаться не может. И обязан быть честным.

Сулль допил чай, аккуратно поставил стакан, сказал:

– Немного боязно. То правда – не помор они. Ссылный. Но люди хороший. Особенно тот большой, белый такой, сильный. Только надо хорошо учить. – И повернулся к Никите. – Я пришел – как это? – на совет. Там, на море, будет волна. Надо учить ссылный бить при качка не мимо...

Никита внимал с интересом. Сулль положил пустой стакан на бок, покатал его в блюдце, пояснил:

– Если пустой бочка резать так, – показал вдоль стакана, – сюда ставить ногами ссылный и давать ему молот бить наковальню. Так стоять трудно. Надо привыкать. Когда будет хорошо бить, тогда можно брать в море.

Афанасий, молчавший до этого, хохотнул:

– Куда ему так учиться? Он с молотом на твердой земле не может путем стоять, а ты – качка!

И хмыкнул, показав на стакан:

– Ему так год учиться надо.

– Год – много, – сказал Сулль. – Сложно, я понимаю. Я очень прошу учить так. – Сулль опять покатал стакан в блюдце, обратился к Никите. – Я буду доплатить ученье.

Никита смотрел на стакан, на Сулля, на Афанасия, о чем-то думал. Сулль ждал.

– Я давеча мимо старой ямы шел, – сказал Никита, – разрыта, смотрю. Ты, Афанасий, не оттуда ли уголь берешь?

Афанасий метнул взгляд на Сулля, усмехнулся, со скрытым вызовом ответил:

– Оттуда.

– Разве им хорошо нагреешь? – мягко и укоризненно сказал Никита. – Измотаешь парня. И железо попортишь.

Сулль свои впечатления от виденного в кузне оставил при себе, смолчал. Афанасий смеялся.

– Оно, конечно, дымновато немного. Да я сильно-то нагревать не стараюсь.

– Никита, – спросила Анна Васильевна, – ты сказывал – когда на Рыбачий Нюшка ходила, то какого-то ссыльного за ухо таскала на шхуне Кузьмы Платоныча?

– Его! – опять хохотнул Афанасий.

– Эх, проказница! – повернулась она к Нюшке. – А как, не ровен час, пырнет ножом? Арестант ведь...

– Так уж и пырнул...

Нюшка улыбнулась, открыв верхний ряд зубов. Улыбка получилась озорной и доброй.

Сулль сказал:

– Это не можно.

– Что, батюшко, не можно? – не поняла Анна Васильевна.

– Не можно тот ссыльный таскать за ухо. Их два, – пояснил Сулль и показал пальцы. – Большой не можно. Малый, пожалуй, можно. Малый работает на берег. Большой, белый, работает в кузня...

Нюшка склонила голову набок, спросила у Афанасия:

– Уж не тот ли в кузне, что в кабаке руку тебе помял?

От Нюшкиного вопроса потянуло холодным ветерком.

Сулль наблюдал с интересом. За Афанасия ответил Никита.

– Тот, – сказал он. В голосе были осуждение и недовольство.

В глазах у Нюшки мелькнули от свечей блики. С ласкательной иронией она сказала:

– Хорошо ты, дядя, удумал мстить: и уголь берешь дымный, и железо недогреваешь. Глядишь, и за кабак рассчитаешься.

Нет, эта девушка с тупым славянским носом положительно нравится Суллю. Нравятся это чистое лицо и насмешливое строение губ: даже лютуя, они продолжают улыбаться. Сулль разглядывает ее. Занозистый норов. Много в ней сил. Хорошая будет мать, хорошие дети.

– Ничего, поскромня будет.

Смех Афанасия получился натянутый. Наступило молчание. Остывая, тоненько попискивал самовар.

– Да, – прервал молчание Никита, – негоже получается. Что люди про нас подумают?

Анна Васильевна смотрела на Афанасия строго:

– Эх, негодник ты какой! Вот не дотянись, нарвала бы уши. Срам да поношение какое! Удумал ты...

Сулль поглаживает рыжие бакенбарды, переходящие в короткую бороду, тщательно бритую верхнюю губу. Ему не в диковину, что колянки держатся независимо. Он давно привык к этому. Все идет хорошо, отмечает он про себя, об Андрее-ссылном договорились. Но неприятностей в этом до-

ме он не желает. Все хорошо в меру, не больше.

Его планы не должны срываться по чьей-то прихоти. Он должен направлять их. И Сулль придает голосу мягкую задушевность.

– Это не есть таить зло, месть. Ссылный через неделю-две будет быстро привыкнуть. Немного трудно – и все будет хорошо. Хорошо, – повторяет Сулль. Ему действительно любо это русское слово. Он произносит его четко, правильно. Оно очень успокаивает.

Никита, кажется, понял Сулля.

– Сделаем, как просишь, Сулль Иваныч. А уголь, извиняй, будет гожий. – И покачал головой, не сдерживая упрека Афанасию. – Эх ты, дите неразумное. Им ведь на акул идти. Тебя небось не пошлешь – кишка сожмется.

Лицо Афанасия налилось краской, мочки ушей стали белыми:

– Эка невидаль – акулы! Али я в морях не бывал? Захочу – и меня возьмут.

Он хотел сказать еще что-то, но Сулль, улучив момент, вставил:

– Я буду очень рад брать Афанасия.

Афанасий исподлобья посмотрел на Сулля, как бы оценивая случившееся, потом перевел взгляд на Никиту.

– Слышал, братеник?

– Ну, ну. Поживем – видно станет.

Осень подступала незаметно, исподволь. Редкие погожие дни исчезли. Ненастье пришло хмурое и сырое. Ветер – беспокойный, переменчивый – успевал за сутки обойти все румбы компаса и все подгонял и подгонял, направляя за вараки, влажные облачные стада. Грязные, словно давно немытые, тучи наглухо застилали небо и неустанно сыпали мелкий, настырный, промозглый дождь.

Сумеречный день стал коротким, и Шешелов ложился спать рано, но за полночь просыпался и подолгу лежал с открытыми глазами: слушал в тиши неумемный шепот дождя за окнами, всматривался в темноту. Где-то в ней, под полом, попискивая, возились мыши. Засыпал он под утро тревожным, поверхностным сном, а вставал неотдохнувший, вялый и целый день потом томительно ждал вечера.

С утра, по заведенному порядку, Шешелов принимал чиновников. Говорить с ними ему не хотелось, и он больше молчал, подчас плохо соображая, чего от него хотят, смотрел в окно. На дворе – остатки жухлой травы, слякоть, лужи. Темные от дождя башня и стены крепости. Дальние вараки в хмуром дне не проглядывались.

Чиновники из таможи, суда и казначейства уходили, уходил исправник, и Шешелов оставался один. Подолгу неподвижно сидел он за большим столом городничего, смотрел

в окно, хандрил. Мысли текли куцые, рыхлые. Делать ничего не хотелось. Пришедшие с почтой журналы и книги были еще не просмотрены – не было прежнего удовольствия от чтения.

Сегодня он опять открыл чернильный прибор, взял перо и на чистом листе бумаги медленно вывел:

*Его Превосходительству господину Архангельскому
военному губернатору управляющему и гражданской
частью*

Кольского городничего

РАПОРТ

Однако далее опять не шло. Написав слово «рапорт», он отложил перо в сторону, откинулся в кресле, задумался.

Писать он начинает не в первый раз. Но того нужного тона, тех слов, что вкупе составили бы желаемое письмо, у него не было. Вообще-то он, Шешелов, понимает, что суть, конечно, не в тоне. У него нет решимости. Он должен решиться и написать прямо или снова вызвать к себе стариков и объяснить: его долг – исполнить предписание губернии ставить пограничные знаки, и только.

Но даже в глубине души, подсознательно, он не знает, какое решение будет правильным. Тогда он не мог отказать старикам. Их тревога и боль были ему понятны. Он провел с ними чудесный вечер, сам напросился, сам обещал помощь, но, пожалуй, не может сделать того, что от него ждут. Риск очень велик. Можно однажды в порыве сказать: твоя чест-

ность, твое право на уважение к себе – в действии. А как решиться на действие? Что, если письмо не встретит поддержки, а наоборот? Полный личный крах.

Нуль – вот цена ему, Шешелову, в случае неудачи.

В дверь резко постучали. Шешелов вздрогнул, схватил со стола, смял начало письма. Обычно так стучал писарь. “Черт бы взял колченогого!” И медлил, не откликнулся, не хотел, чтобы видел писарь: Шешелов от него тайком что-то пишет. «Пусть подождет, – думал, – обнаглел очень. Служака обчеству».

Вчера после обеда Шешелов собирался спуститься вниз, в ратушу, и случайно услышал, как на кухне Дарья вела разговор с писарем, жаловалась:

– Не знаю, что и сварить, чтобы поел он. Привередливый да сумной стал. Молчит все. Не ведаешь, что и надобно...

На дворе был дождь, и писарь, видимо, обедал у Дарьи.

– Да-а, чтой-то твой барин аппетиту лишился...

С лестницы не была видна кухня, но Шешелов вдруг отчетливо представил себе прищуренный взгляд писаря и ухмылочку, как бы говорящие: «Э-э, повидал я вашего брата на своем-то веку».

– Какой мой, такой и твой, – сердито ответила Дарья.

Было слышно, как писарь громко хлебал уху.

– Ну-т, кума. Я сам по себе. Я ведь не для денег служу, а для обчества. Не вихляюсь туды-сюды.

Плескалась вода. Дарья гремела посудой.

– Знаем, не вихляешься. Только по юбкам, старый черт, и таскаешься.

Писарь, наверное, вытирал усы да не в спехе облизывал ложку.

– То, кума, дело житейское, бобыльное. То другое.

– Другое тебе. И барин тоже не Мамаю служит.

Охота спускаться вниз у Шешелова пропала. Осторожно, чтобы не скрипнула половица, он вернулся к себе и больше в ратушу не пошел. Рассчитать бы писаря за такую вольность, да где здесь другого сыщешь?

И когда, после второго стука, вошел, наконец, писарь, Шешелов вежливо произнес:

– Я сейчас занят.

Сидел неподвижно, смотрел, как писарь пожал плечами и вышел, не раскрыв рта. Это не был окрик: «Пшел на место!» Это лишь вежливое напоминание о нем. Но, хотя Шешелов был доволен собой, легче от срыва не стало. Так он с писарем. Почему бы не так с ним, Шешеловым, кто-то другой?

Ныли в коленях ноги, побаливала поясница, Шешелов узнаёт северик сразу. Сквозь щели окна, потом в плохо прикрытую дверь сочится сквозняк. И разбуженный ревматизм начинает ворочаться в суставах, словно ему там тесно. Надо сказать Дарье, что от окна дует. Затопила ли она печь наверху? Он не будет писать сегодня. Пусть потом, завтра. Сейчас ему хочется посидеть у огня и погреть ноги. Он снимет мундир, наденет теплый халат и оленьи пимы, будет смотреть на

огонь, курить и не будет думать о рапорте.

И Шешелов сделал все, как хотелось. Топилась печь. Он сидел у открытой дверцы, смотрел на огонь, курил.

Ноги покоились в теплых пимах, колени грелись от пламени. В мягком, низком кресле очень удобно. Шешелов сам просил писаря обрезать ножки у кресла именно так: задние короче передних. Очень покойно сидеть и смотреть на огонь.

Когда Шешелов объяснил писарю, как нужно обрезать ножки, писарь молчал, но весь, его вид говорил: «Мне что – я обрежу. Да умно ли это – кресло портить? Лет сорок для всех оно было удобное». Чертов писарь. Он умудряется отравить Шешелову настроение даже своим видом. И сегодня – это пожатие плечами. Эдакое молчаливое превосходство: едкий взгляд и ухмылочка. Будто городничий тут не Шешелов, а этот хромо́й бестия. Понимает, черт, – не выгонишь. Будь Шешелов в другом месте, давно бы избавился от него. Но здесь это невозможно. Хоть и люди кругом, а житье, как на острове, – один. Правда, ему без особой надобности чье-либо общество. Независимость от горожан, книги и вырезки – это его вполне устраивает. Но иногда что-то срывается там, внутри, и тогда независимость становится одиночеством.

Как-то, будучи в настроении, Шешелов пошутил с писарем, но тот шуточки не принял. А Шешелов знает: с колянами, с Дарьей писарь умеет смеяться.

Он и не глуп, этот писарь. Взять бы по-доброму да позвать его и рассказать все. Посоветовать мог бы разумное. По не

позовешь теперь. «Я не вихляюсь туды-суды». Конечно, он говорил о нем, Шешелове, но сам черт не знает, что он имел в виду. Может быть, догадывается, что губернское письмо извело Шешелова? Ничего мудреного: Почта ушла, ответ в губернию не написан. И о разговоре со стариками писарь наверняка знает. Все они тут одним миром мазаны. Однако сам о границе смолчал тогда. Бойтся наказания? Или соглядатай исправника? Шешелов иногда позволяет себе мысли вслух, не стесняясь его присутствия, а надо осторожнее. И эту молчаливую спесь следует сбить. Писарь хром, значит в солдатах он сроду не был. Взять и спросить его как-нибудь: «А ты вот, к примеру, знаешь, что такое война? А штыковая атака?» Да, именно штыковая.

... Тебя от земли отрывают будто с корнями, трудно, и бросают в бег чьи-то слова команды. И ты бежишь. Но это больше уже не ты: рот перекошен истошным криком, нет памяти, мыслей, только, набухнув звериным страхом, кричат из тебя все жилки тела: выжить бы! выжить! выжить!

И рядом бегут такие же – с почти невидящими глазами, с раскрытым зевом, с обезумевшей мольбой в глазах: чур меня! чур меня! чур!

Знаешь ли ты, писарь, как слаба плоть людей под штыком? Слышал ли ты когда-нибудь хруст ломающихся костей? А леденящие кровь вопли страха, боли, отчаяния, одинаковые на всех языках?

Он, Шешелов, безусый новобранец, вчерашний крепост-

ной, убивал. Он делал все, как учили: бил прикладом и втыкал штык в чье-то тело. И зверел, и кричал при этом. И, визжа от страха, сам увертывался от чужих ударов, чтобы не быть убитым, и убивал, убивал. Потому что бежать из этого ада еще страшнее: нет страха сильнее, который ощущается спиной.

Да, он убивал таких же, с какими мог бы вместе идти на гулянье или выпить на ярмарке, а под старость просто соседски сидеть в летних сумерках на деревенской улочке да толковать о видах на урожай, о сенокосе или предстоящих крестинах у чьей-то кумы...

...Тогда ему адской болью обрушилось сзади на голову что-то тяжелое. Дневной свет зарябил и поплыл звоном. Земля пошла из-под ног, будто сбросив его с себя.

Очнулся ночью от боли. Лежал ничком, уткнувшись в траву. Голова гудела. Было темно. Сладко пахло мятой. Не помня, где он и что с ним, хотел встать, но тело сковало новой болью. Он вспомнил. Приподнялся на руках, оглянулся. Ноги были придавлены трупом лошади. Движения причиняли боль. Ночь, ясная и тихая, с обильной росой, как бывает перед жарким днем, низко играла звездами. Хотелось заплакать.

Когда-то давно он видел, как на барском дворе конюх прижал к земле вилами ласку. Острие не задело зверька, и он, извиваясь, крутился, кусая железные вилы, и страстно скреб землю, пытаясь освободить прижатый задок. Казалось, он го-

тов был отгрызть его.

Теперь Шешелов сам был похож на ту ласку. Стараясь превозмочь боль, он судорожно рвал траву, пахнувшую медом, и скреб землю, ломая ногти, и скулил от бессилия уползти из своей ловушки.

Потом под руки попало ружье, и он отчаянно стал рыть штыком, пока не удалось развернуться, сесть и, наконец, вытащить то, что было его ногами. Но встать не мог. И, волоча ноги, он пополз на руках, скуля и всхлипывая, туда, где, по его памяти, была река. Полз, натываясь на уже остывшие тела. Мысль, что он жив, что еще сможет выжить, толкала его вперед.

Сколько их тогда осталось в живых? В лесу он наткнулся на троих, и все были ранены. Командир роты, поручик, чуть старше Шешелова, а выглядевший мальчишкой, высокородный, богатый, красивый, плакал от боли, страха и неизвестности. Два знаменосца полка – один, раненный в живот, не поднимался, другой немного ходил.

Целый день они сидели в лесу, видели, как французы согнали на луг крестьян убирать трупы. Слышалась чужая речь. День был жаркий, с луга несло смрадом.

К полудню ноги у Шешелова стали отходить. Ходячий солдат промыл ему рану на голове, и он поспал. Вечером встал на ноги, хотелось есть. Возвращались силы, и Шешелов понял, что остался жив.

Ночью, оставив в ельнике двоих, неспособных двигаться,

они пошли с солдатом вверх по берегу, к деревне. На той стороне были лодки. Переплыли речонку: не вылезая из воды, взяли лодку и, держась за нее, поплыли вниз. Когда Шешелов причалил у леса, солдата не оказалось. Шешелов не видел, куда тот делся, но решил, что утонул. Потрясенный, он опустился на сырую кочку, возле лодки, и, держась за уключину, плакал.

Вернувшись в ельник, он перенес ротного и знаменосца в лодку и оттолкнулся от берега. Солдат под утро затих, ротный бредил в бесспамятстве. Шешелов не знал, куда плыть, что делать. С рассветом загнал лодку в кусты, выкопал штыком ямку, как мог, похоронил солдата. Знамя он обмотал вокруг себя, сверху надел мундир: стал толстым, неповоротливым, зато согрелся.

Тут и провел он день. Ротный в сознание приходил ненадолго, просил пить и молил: «Ты не бросай меня, Шешелов, не бросай. Уж я тебя вспомню, наградят тебя», – мучился болью, и плакал, утирая глаза кулаком, и снова впадал в забытье.

... Поленья в печурке сгорели, золото углей поблекло. Жар отцветал в налете пепла. За окном низко висели тучи. День угасал. Время подходило к обеду, но есть не хотелось. Сорок лет назад он мечтал о просяной каше. Он тогда мог бы съесть ее много. Да, господин писарь, очень много. А что подобное можешь ты вспомнить?

Но возвращаться к молчаливому спору с писарем разбу-

женная память теперь не хотела. Она услужливо подавала ему отрывки того, что когда-то, давно очень, было и ушло навсегда.

Бывший ротный, теперь командир полка, сдержал слово. За спасение знамени полка и жизни командира Шешелова наградили, как ему и не снилось: вчерашний крепостной, новобранец стал прапорщиком. Солдаты при его появлении вставали, желали здравия, говорили: «Ваше благородие». Благородие!

За окном темнеет. На улице дождь. В комнате тепло, сухо. Подольше не приходила бы с обедом Дарья. Приятно сидеть одному, в тиши предаваться воспоминаниям.

Шешелов выбирает поленья посуше, подкладывает их в печурку. Хорошо у огня. Да, славное было время. За что бы ни брался он, все выходило удачно, спорилось. Ему везло. Пули его обходили.

...Он хорошо помнил, будто недавно было, как в крестьянской одежде шел по незнакомой деревне. На площади у церкви дымились костры, варился в котлах ужин. Стояло в козлах оружие. У коновязи распряженные лошади. Все говорило о том, что французы расположились на отдых.

За деревней в лесу, откуда брел Шешелов, остались его солдаты. Пора было возвращаться к ним и идти в свой полк, доложить, что французы, похоже, о преследовании не думают. Отступая, их полк измотался и тоже нуждался в отдыхе.

Французы вели себя беззаботно: охранения не выдвинули,

и Шешелова никто не окликнул. Он брел, прихрамывая, опираясь о палку, приглядывался к чужой, непохожей и очень похожей солдатской жизни. Впервые с тоскливой завистью помянул про себя бар, которые понимали чужой язык.

На другом конце деревни, у околицы, французы жгли костры, сидели у шатров, чинили амуницию, стирали в речке. Мирно пахло дымом и варевом.

На мосту колесом провалилось орудие, и путь в деревню закупорился: успела проехать только одна мортира, запряженная цугом. Смирно стояли лошади, возжи кинуты на лафете. Обслуга, похоже, вернулась помочь на мост.

Шешелов сосчитал пушки, шатры и костры на околице, прибавил к тем, что были на площади. Пора было засветло возвращаться, а он стоял и рассматривал лошадей: хорошие, сильные лошади. Шешелов осторожно причмокнул, понукал их. Они поперебирали ногами, словно не решаясь трогаться без вожжей, и, когда Шешелов причмокнул еще раз, медленно пошли с места.

На мосту французы возились, галдели, показывали руками за речку, на березовую рощу: им, видно, нужны были ваги.

И жаркая волна отваги, лихости толкнула Шешелова на лафет. Собрать вожжи было делом мгновения.

От шатров смотрели французы. Время шло к ужину, к ночи и отдыху. Шешелов знал, какая бывает расслабленность у костра вечером. Понимал: пока придут в себя, он будет в

деревне, – и ударил по лошадям, пустил их в бег. Мортира глухо застучала колесами по твердой дороге, и тогда сзади послышались крики. Но Шешелов уже погонял шестерку в деревню, в улицу.

На площадь у церкви он вылетел с грохотом. Скакал в полный галоп, молча нахлестывая вожжами. Французы шарахались в стороны, удивленно смотрели. Их ружья стояли в козлах, кони были распряжены. И Шешелову хотелось кричать, как кричал озорно и лихо барский кучер, гоня по деревне тройку: «Э-гей! Поберегись, мать вашу!»

Стучали по твердой дороге колеса, стучали двадцать четыре кованых копыта. Шестерка неслась по деревне, слышны были выстрелы. Но Шешелов не боялся. Стрелять по нему в деревне не станут: своих побьют. А вот остановить спереди лошадей могут. И он погонял молча, чтобы крик наперед его не выдал.

У последних домов Шешелов оглянулся: сзади, за пылью, скакала погоня. Он прикинул расстояние до леса и до погони и, все еще распаленный волной неумного озорства и удали, закричал, оглядываясь назад: «Догоняй теперича! Ушли мы! Эгей! Поберегись! Пошел, милья!» И, приближаясь к опушке, орал что было мочи: «Ружья! Ружья, ребяташки! Встречай конных на ружья! Смело встречай! Попридержи их залпом!»

И, когда за спиной прогремел первый залп, Шешелов понял, что теперь ни с ним, ни с солдатами его ничего не слу-

чится. Французы на ночь в лес не пойдут.

Потом они ехали. Кто сидел на мортире, кто трусил рядом, но все поглядывали назад: не верилось, что простят свой конфуз французы. А когда отъехали далеко и прошло ожидание погони, всех стал разбирать хохот.

Луна всходила полная. Лес заливался чешуйчатым светом. Ночной воздух густел прохладой – голоса далеко слышно. И Шешелов, давясь смехом, снова и снова рассказывал, как гнал лошадей по деревне, как, не понимая происходящего, смотрели, раскрыв рты, французы.

Смеялся он, смеялись солдаты, наперебой вставляя, что думал каждый, увидя Шешелова и погоню, как стрелял, как поворачивали назад французы.

Ехали шагом. По стылой дороге катилась мортира. Солдаты шли обок, Шешелов восседал на лафете. Он представлял, какие в полку будут толки о нем, о мортире, и, довольный, выговаривал про себя безликому недругу: «Оно, конечно, в карты нам играть не на что. И в туза из пистолета враз не уметить. Но зато мы смекалкой да хваткой не обделенные. Так-то вот, судари благородные».

Да, в схватках он вел себя отчаянно. Какое-то удивительное чутье подсказывало, что все будет благополучно: он еще закатится в родную деревню на почтовых. Не крепостным – офицером! Будут подарки родителям. Будет деревня у окон избышки пялить глаза завистью, старики кланяться издали, баре звать к себе в дом, чтобы на него глянуть. Будет еще

очень много: служба, женитьба, чины.

Тогда он не мог предвидеть, что пережитый им в молодости страх вернется. Придет пугливым вздрагиванием на любой шум и постоянным ожиданием ареста. Он заявит о себе кошмарными снами и пробуждением в поту. Потерять все достигнутое? Оказаться опять крепостным или, хуже того, – на каторге?

Когда к жандармам вызвали и его, он снова почувствовал себя под трупом лошади с придавленными ногами. Но тогда, раньше, это длилось недолго, а впереди была целая жизнь и были силы. Теперь главным было прошлое. И он делал все, чтобы сохранить его, уползти. Он был угодлив и расторопен на службе, он бегал по знакомым и всем старался казаться благонамеренным. Да, он скулил и крутился.

Его письмо к князю тоже было пропитано страхом. Он писал его, торопясь, выворачивал себя наизнанку – мол, запутался, не углядел, как попал к петрашевцам; его, дескать, не политика привлекала – нравились их слова: воспитание каждого человека всегда не окончено, и он сам должен стремиться к образованию себя. Он, Шешелов, раскаивается.

В чем он раскаивался тогда? На власть он не посягал, других преступлений не делал. Казнить его было не за что.

С князем Шешелов не встречался лет двадцать. После войны князь ушел вдруг из армии, уехал послом за границу. Теперь говорили, что вернулся в столицу он членом Государственного совета, пользовался особой благосклонностью

монарха.

...От долгой неподвижности затекли ноги. Шешелов встал поразмять их, прошелся. В пимах ходить было мягко. Отогревшиеся колени не ныли. Он смотрел в черные стекла окон. Встречу с князем помнил до мелочей. Помнил, как в большом и прекрасно обставленном кабинете тишина дышала силой и властью. Множество окон и масса света. И прямо в глаза – огромный портрет царя. Рама толстая, золотая, уходит до потолка. Царь стоит, опираясь рукой на эфес сабли. Поза величественная. Сразу чувствуешь – царь! И хочется поклониться.

Под портретом письменный стол, а рядом так же величественно стоял князь – человек, которому Шешелов обязан личным дворянством, чином восьмого класса. Он стоял очень прямо, чуть вскинув голову, большой палец правой руки заложен за борт шитого золотом мундира.

Размеры и обстановка кабинета сделали Шешелова маленьким, ничтожным. Ковровая дорожка к столу была бесконечно длинной.

Шешелов уже начал раскаиваться, что написал, что пришел. Страх снова овладел им. От волнения в горле першило, и вместо задуманного почтительного приветствия Шешелов произнес что-то бессвязное, непонятное даже себе. Лицо ситятельного дрогнуло в улыбке, он слегка наклонил голову в знак ответа и сделал приглашающий жест рукой, сказал, не напрягая голоса, радушно:

– Ну конечно, можно! Разумеется, можно. Пройди, пройди сюда.

Голос у сиятельного погустевший, размеренный, не похожий на тот, которым плакал когда-то ротный: «Ты не бросай меня, не бросай...» Череп сиятельного был голый, у висков торчали остатки волос.

Шешелов шел к столу негнушимаися ногами. Князь сделал навстречу несколько шагов и взял его за локти. Шешелов видел: сиятельный действительно рад ему.

– Давно мы с тобой не видались, Иван Алексеич. Сколько лет прошло... Жизнь! И, судя по тебе, я, наверное, совсем старик.

После допросов в жандармерии, после всех страхов, треволений и отчаянного письма Шешелов приветливости не ожидал. Внутри что-то дрогнуло, захотелось пасть на колени и благоговейно поцеловать эти тонко пахнувшие духами руки. Они очень много сделали для него. Это они запросто хлопали его по плечу, когда князь хохотал над рассказом о похищении мортиры: «Ай да прапорщик, ай да удалец!» Они вручали ему награды. Они пять лет платили французу, который учил Шешелова читать и писать.

– Старость, она, брат, ни чинов и ничего другого не разбирает, – говорил князь и с улыбкой разглядывал Шешелова, словно пытался заглянуть ему в душу, словно оценивал и сравнивал что-то ведомое только ему. – А какие мы с тобой молодцы были! Как французов били, а? Помнишь? Го-

ды, годы! Старость берет беспощадной рукой. И нет от нее спасения.

Взгляд у сиятельного стал влажным. Он отвернулся и молча походил по кабинету: одна рука большим пальцем за борт, другая согнута за спиной. Потом опять подошел к столу, сел на мягкий с резной окантовкой стул, и, словно прогоняя навязчивое, зажмурился крепко, в морщины.

– Сядь, – тихо сказал он Шешелову.

Шешелов покосился на кресла, в которые, видимо, никто никогда не садился, и, не дойдя двух шагов до них, остановился.

– Разрешите стоять, ваше сиятельство.

И совсем уже осевшим голосом добавил:

– Я пришел к вам защиты просить и помощи.

Брови у князя слегка поднялись, взгляд как бы возвращался к действительности.

– Да, я читал твое письмо, – устало и огорченно сказал он. – Это неприятная история. Ты попал к скверным людям.

– Ваше сиятельство, вы знаете – я крепостной по рождению, вашей волей в офицеры произведенный. Воспитания не получил большого. Где мне разобраться было.

Взгляд у князя из-под бровей посерьезнел:

– Однако разобрался, как пишешь.

Шешелов помнил, что писал князю. Все искренне, все как было.

– Разобрался лишь время спустя. И сразу ушел от них. И

помыслов против веры, царя и отечества не имел. И книг не читал более подобных.

– Верю, что не имел помыслов, – медленно сказал князь, – и рад, что силы мои не зря потрачены на тебя.

Он откинулся на стуле и смотрел теперь мимо Шешелова, куда-то в сторону, говорил в раздумье:

– Тяга к книгам, к знаниям. Непрестанный поиск места приложения умов...

Он встал, отошел к окну и стоял, заложив назад руки, спиной к Шешелову, долго и молча. Потом, не оборачиваясь, заговорил будто сам с собой:

– Нам следовало бы прийти к сознанию, к которому обыкновенно приходят с таким трудом родители детей взрослых: настает возраст, когда мысль тоже мужает и требует, чтобы ее признали таковою.

Он прошелся по кабинету, словно забыв о присутствии Шешелова, будто продолжал спор с кем-то другим.

– Здравый смысл подсказывает, что наступила пора ослабить чрезвычайную суровость цензуры. Она устарела уже потому, что служит пределом, а не руководством. А у нас в литературе, как и во всем, вопрос не столько в том, чтобы подавлять, сколько в том, чтобы направлять. Разумное, в себе уверенное направление – вот чего недостает нам сегодня всюду. – Он не смотрел на Шешелова и говорил раздумчиво, как бы убеждая себя и кого-то другого, с кем спор был еще не окончен.

Он остановился в дальнем углу кабинета и оттуда смотрел на Шешелова, уже обращаясь к нему:

– К сожалению, на благоволящего к искусствам царствующего императора влияют люди, знающие литературу настолько, насколько в больших городах полиция знает низкие слои общества, то есть лишь те беспорядки и несообразности, которым иногда предается наш добрый народ.

Князь медленно пошел к Шешелову, одна рука за спину, другая большим пальцем за борт мундира.

– Нам известно, что Россия наводнена крамольными книгами от петрашевцев. Они переходят из рук в руки с величайшей быстротой в обращении. Их с жадностью домогаются. Они уже проникли если не в самые низы, которые не читают, то в весьма низкие слои общества.

Он подошел близко к Шешелову, и незнакомое прежде брезгливое и жесткое выражение появилось у него на лице, хотя голоса князь не менял:

– Но петрашевцы – жертвы безрассудной мысли. Память о них для потомства будет схоронена, как труп, как память о мятеже декабристов. Русский народ всегда чуждался вероломства и проклятием поносил имена тех, кто дерзнул посягнуть на священные права государя императора. – Взгляд его глаз с пожелтевшими старческими белками был сухим и горячим.

Шешелов не шевелился, стоял вытянувшись, хотя ему очень хотелось сжаться и отступить от князя на шаг. Князь,

видимо, понял его состояние. Выражение лица смягчилось.

– Ты честно служил на войне. Но тогда видно было, где враг. Сейчас идет другая война, и враг другой: неприметный, коварный и очень опасный враг... – он сделал паузу, – брожение умов. Ни в какую другую эпоху не было столько брожения. Возникают противники власти. В народе дух непокорности и неповиновения.

Он стал совсем близко к Шешелову, взял его за борт мундира. Складки у рта были жесткие.

– Ты должен воевать так же честно, как раньше. Надо общать это брожение к содействию власти государя. Необходимо направлять эти силы на готовность помогать ей всемерно. – Выражение лица снова смягчилось. – Вспомни: кем ты был и чем обязан государю. Судьба большого и малого связана с его судьбой, с судьбой России. И ты должен драться. Не следует гнушаться даже мер тиранических, если они направлены на сохранение интересов монарха.

...Дарья вошла в комнату без стука, по-хозяйски неторопливо.

И хотя она не успела еще ничего сказать, Шешелов поморщился: всегда кто-нибудь помешает. Днем испортил ему настроение писарь, теперь отвлекает Дарья.

– Извольте кушать идти, барин. Обед подан.

Поленья в печурке горели ярко. На стенах, на темном окне плясали отсветом тени. Шешелов обернулся. Глаза, не привыкшие к темноте, слабо различали только фигуру Дарьи.

– Я не хочу обедать.

– Это как же так – не хочу? Обедать надо.

Так он и знал: легко от нее не отделаться. Но поступать с ней, как с писарем, ему не хотелось.

– Послушай, Дарья, я сам должен решать, когда мне обедать. Ты обязана только сказать.

– И-и, барин, эдак ты совсем отощaeшь. Забудешь про обед за делами-то...

Шешелов понял слова как намек на его безделье, раздраженный поднялся с кресла. Теперь он смутно видел ее лицо.

– Иди, Дарья. Будет, как я сказал, по-моему.

– Уж известно, так, батюшко, как ты сказал. А только обедать-то все одно изволь.

Если бы он не слышал, как она говорила о нем с писарем! Но он слышал. И поэтому не сорвался, говорил внушительно-тихо, заговаривая ее, как привидение.

– Иди, Дарья, иди. Я позову, скажу, когда надо...

Дарья, наконец, повернулась, пошла, но даже в дверях все еще недовольно ворчала, будто бы обращаясь к себе, а на самом деле рассчитывая на его слух:

– Чисто дите малое. Кажинный раз надо уговаривать поись. Хоть иди к ведуну, уж не сглаз ли какой...

Шешелов расслабленно опустился в кресло. Дыхание сделалось частым и шумным, пальцы нервно теребили халат. Он знал, теперь не успокоится долго. Черт возьми! Когда-нибудь коляне заставят его взбеситься. И старался подавить раздра-

жение, вернуться к прерванным мыслям. Все было так хорошо. Он думал о чем-то значительном, когда пришла Дарья. Днем писарь, теперь она. Он не успел додумать. Что? Что не успел он додумать? Топилась печь, плясали по стенам блики. Он думал о князе. Да, он был на приеме, и князь говорил, что не следует гнушаться мер тиранических...

А дальше, дальше?

Шешелов сидел у огня в мягком и низком кресле, но прежнее состояние, когда он мог вспоминать, переживая прошедшее заново, не возвращалось. Память отказывалась служить.

Он встал и прошелся.

Обжигая пальцы, достал уголек из печки; раскуривая трубку, успокаивался.

Господи, ну что он так изводит себя? В колянах видит одни лишь козни. Все это похоже на мышиную возню, ту, в ночи, под полом. Те тоже вроде бы заняты чем-то, хлопочут, живут. И он, опасаясь писать о границе, хочет сохранить эту мышиную возню. Чего ради? Чтоб когда-нибудь известись, борясь за покой и уединение? Несуразица. Он должен решиться и написать князю откровенно и честно, как тогда, все, что он знает и думает о границе. Князь должен понять. Отданная земля полита кровью колян, людей русских. Князь воевал, он знает, кровь – это серьезно и дорого. Ему не нужно объяснять долго, что землю утратили не только коляне. Ее лишили Российское государство, монарх. Да, он сам го-

ворил, что судьба большого и малого связана с его судьбой, и не следует гнушаться никаких мер для его блага...

Шешелов встал, зажег свечу, взял с собою табак, пошел вниз в ратушу.

Он еще не знал, что будет делать и станет ли вообще писать. Но ему необходимо было идти сейчас в кабинет, сесть за стол.

Внизу дверь на кухню стояла настежь. Вкусно пахло наваристой похлебкой. Дарья в проеме двери ждала, когда он сойдет по лестнице.

– Подавать обед-от? – голос обеспокоенный.

«Что, – подумалось, – может, она и вправду решила, что я больной или порченный?» От недавней своей резкости Стало неловко.

– Скоро, скоро будем обедать, Дарья.

И сам удивился своему голосу: в нем ожила вдруг нотка приветливости и доброты. И это понравилось. Загораживая рукой свечу, он шел на половину ратуши и перемене настроения про себя улыбнулся, ему сделалось хорошо.

В кабинете он зажег свечи, грузно уселся в кресло, закурил не спеша, с удовольствием. Аккуратно макая перо в чернила, старался не брызгать. Он не хочет пока исполнять предписания губернии по обновлению граничных знаков. И не только потому, писал он князю, что Кольская ратуша не имеет карты. Коляне хотят знать: почему ущемлены интересы Русского государства при установлении новой границы?

Не было ли допущено злоупотребления подполковником Гальяминым?

Сомнения не терзали его. Мысли были простыми и ясными. Он покуривал трубку. Писалось легко.

Коляне не могут забыть и простить обиды. И это понятно. земля – не только богатство и достояние державы. Это большое национальное чувство, которое заложено в человеке так же, как чувство добра, зла, любви. И его нельзя ущемлять. Иначе откуда возьмутся преданность, вера?

Шешелов закончил писать, отложил перо и улыбнулся обрадованно пришедшей мысли. Ну, право же! Глупо себя подставлять под палку. Князь князем, письмо письмом, а губернию раздражать не следует. Ставить граничные знаки он поручит исправнику. Труд немалый, исправник постарается избежать его под любым предлогом. И хорошо! Шешелов в этом ему поможет и будет избавлен от его же доносов по границе. Не станет же исправник на себя жаловаться. А тем временем князь ответит...

Шешелов взял исписанный лист и аккуратно его свернул. Завтра он отдаст его писарю, и тот перепишет ровным, красивым почерком.

Пусть он узнает, что в нем написано и кому. Так даже лучше: шаг сделан.

Наступит конец его, шешеловским, метаниям и раздражению.

– Вот, – сказал Шешелов, подавая исправнику губернское предписание, – извольте. Я полагаю, его надлежит вам исполнить.

С настороженностью исправник принял бумагу. Глаза забегали по письму. Шешелов наблюдал. Хотелось, чтобы исправник сам отказался столбы ставить. Дело ведь хлопотное. Их нарубить, ошкурить и обтесать надо, на места развезти. Лопарей разыскать, оленей. Все далеко от дома, надолго. Исправник усерден. Нареканий по службе старается не иметь. Правда, были слушки, грел он руки на контрабанде. Но Шешелов не стал тогда вникать в суть. И, может, напрасно.

– Я к вам расположен, господин городничий, как к родному отцу, сердечно, – сказал исправник. – Но тут прямо сказано: «Встретиться с норвежскими комиссарами». А это для меня много. Я человек маленький. Вам бы тут самому лучше.

Он отказывался. И причину назвал не пустую.

– Для меня, господин городничий, время настало – никак отлучиться нельзя из Колы. Поморы домой вернулись. Вор на воре. Пьяницы; забулдыги! Поножовщина в кабаке. Тут ссыльных опять прислали. Шаромыги! Того и гляди, кишки кому-нибудь выпустят или поджог устроят.

Ясно, он отказывается поехать. Но перечит со смыслом.

Шешелов встал, закурил, прошелся по кабинету. Исправник ничего не сказал о границе. Рад или обеспокоен? Будто не о ней речь. Ведь заставил же тогда лопаря молчать. Знал, почему заставляет. А теперь отчего молчит?

Проходя мимо зеркала, вдруг увидел: в спину ему смотрел откровенно недобрый взгляд. Шешелов повернулся всем телом, медленно. Исправник сидел, опустив голову. Вот, значит, что! Боится.

И отяжелевшим шагом пошел к столу, подергал себя за мочку уха. Надо себя не выдать, поласковее бы с ним.

И вспомнилось: с петрашевцами соглядатай был. Сидел с ними, вино пил, говорил, слушал. А сам дрожал от страха и от нетерпения предать. Ах, если бы в зеркало его кто-нибудь... Вот так же, хоть один раз, случайно.

Помолчав, сказал тоном, какой мало знающие его принимали всегда за глупость:

– В городе, правда, много сейчас хлопот. – Разглядывая перо, покивал в раздумье. – Но вы на досуге зайдите к писарю, распишитесь, что получили бумагу эту.

– Господин городничий! Да я ведь...

Шешелов обмакнул перо и в углу наискось написал: «Господину исправнику. К исполнению». Подписался, поставил число. Вот только в нетерпенье перо зря брызнуло. Сказал тем же тоном, успокаивая исправника:

– Зима долгая. Столбы как-нибудь не спеша заготовить следует. Они почти тридцать лет ждали.

А потом смотрел, как исправник шел к двери. Опять в зеркале промелькнуло его лицо.

Первые дни работы для Андрея прошли как в бреду. Приходя по утрам в кузню, не раз уже был готов отказаться от ученья. Было тошно от одного вида молота. Все тело ломило, ладони опухли – ложку взять трудно.

Афанасий был уже в кузне, сипло гудел:

– Растопляй горно! Качай меха!

И ненадолго совал в огонь железные заготовки.

– Пошевеливай! – И уже одну из них успевал класть на наковальню, кивал головой: – Поехали!

Андрей долго не мог привыкнуть: «поехали» означало хватать быстро молот и бить по тому, что лежало на наковальне. И он бежал к молоту, как в студеную реку: лучше с лету, вниз головой. Отрывал от земли его тяжесть и бил это малиновое железо, сжав зубы, словно не молотом, а кистями собственных рук бил.

Никиты в кузне в эти дни не было, и Афанасий один справлял всю работу, допоздна держал при себе Андрея. Для Андрея же день проходил в угаре: качать меха, бить железо, принести воды, угля. И он ничего не видел из окружающего, не помнил, сколько и что ковал вчера или даже сегодня: все смешалось, сплылось в одно красное пятно на наковальне.

Опамятоваться успевал в обед, ел много и долго, невольно лоя себя на мысли, что есть стал, как Смольков, – тороп-

ливо и жадно, словно с опаской: кто-то не даст насытиться, отберет.

Ели вечером дома. Смольков сидел через стол, ковырял в зубах пальцем, сыто отрыгивал:

– Повезло нам, Андрияха, с Суллем. Харч отменный. Повезло. Доверчивый сам и не жадный. Я все хвалю его. Что советую – слушает. А по-ихнему словам меня обучает нужным. Я уж знаю, как харч просить и работу. Дай срок, тебя выучу...

Как сквозь туман, Андрей вспоминал: Сулль каждый день приходил в кузню. Стоял подолгу, сосал свою трубку, молчал. Андрея бесило это каменное соглядатайство. Хотелось выбросить Сулля из кузни. Но Смолькову про это не говорил. Дожевывал свой обед, торопился: к приходу Афанасия надо успеть горно почистить, разжечь его заново, принести угля, воды, подмести кузню.

Как-то после работы – Андрей и не помнит, сколько уж дней прошло, – мылся он в Туломе вечером и заметил: против обыкновения, с ног не валится. Голый по пояс, оглядел себя: живот подвело, как у собаки, но грудь и руки, начиная от плеч, потвердели заметно. Чувствуя силу, потянулся легко, подумал: «Подержусь еще». А после мытья зашел за утиркой в кузню и, глянув на молот, сам подивился: мог бы стучать им сегодня долго еще.

Делали они в тот день калитку к церковным воротам – работа вся из кованого прута. Афанасий, разложив на земле

поковки, сидел на корточках, что-то соображая, составлял их. Узор получался затейливый и, наверное, нравился Афанасию. Он тягуче гнусавил вполголоса, напевал. Андрей, вытираясь, смотрел и увидел вдруг будущую калитку всю сразу, залюбовался. Поднял одну поковку, еще теплую, отливающую синевой, похожую на цветок загогулину, и рассматривал, поворачивая ее в руках. Граненая, завитая, она хранила еще тепло бывшего жара, когда, нагретая, меняла свой облик под ударами его, Андрея, молота.

Афанасий неожиданно спросил первым:

– Завидно сделано?

Обычно они не разговаривали. Афанасий бросал слова будто в сторону, коротко, сипло: «Меха! Угля! Поехали!» При ошибках Андрея говорил, будто сам с собою: «Эво ты, ловкость какая!» И вздыхал нарочито громко, протяжно. А тут уловил Андрей что-то ждущее от него ответа и откликнулся искренне, не таясь:

– Завидно.

– Так-то вот. К рукам в придачу еще голова надобна.

Говорить расхотелось. Не станешь же объяснять, что кузня ему чуть ли не волшебством видится. В их деревне тоже кузня была. Но не только молотом постучать или просто побыть в ней, а поглазеть кузнец не давал, гнал прочь. Афанасию за его придирками и невдомек, с какой завистью Андрей следит за его сноровкой. Побыстрее бы научиться работать. Пусть уж не как Афанасий – все горит в руках, – а хотя бы

простые поковки делать. Но ведь и для этого ой сколько надо разуместь: и какое железо на что годно, и как что ковать, и как закаливать...

Андрей с сожалением опустил поковку на место и тихо выдохнул:

– Твоя правда.

Больше в этот вечер не говорили.

На следующее утро Афанасий вдруг взял молот из рук Андрея, заговорил, пряча глаза:

– Ты левую-то руку к правой под мышку пускай, под мышку. А то на весу бьешь. Не с руки так и тяжело...

И показал сам, как бить надо. Андрей попробовал. Оказалось, много ловчее и легче. Надо же, везде столько хитростей незаметных!

А перед обедом, тогда же, случилось совсем неожиданное. Афанасий, помешав уголь в горне, не поворачиваясь, сказал:

– Меня Афанасием кличут. Слышишь?

– Знаю уж.

– Ты за что попал в ссыльные-то?

– Солдат я.

– Служить не хотел?

– А ты хочешь?

– Ха! У нас это просто: полтора ста серебром в год набора – и забот нет.

– Я столько за жизнь в руках не держал.

– Что такой бедный? Работать не любишь?

– Крепостной я...

– А-а... Ну, поехали.

И может, то показалось Андрею, а может, и вправду: с того дня железо на наковальню ложилось не малиновым, а соломненно-белым, под ударами было мягким, податливым. И, хотя говорили они мало по-прежнему, работа в тот день шла куда лучше, почти в удовольствие. В тот день.

А назавтра принес Афанасий половину от бочки, сколоченную крепко, бросил у наковальни.

– Сульь Иваныч тебе работать велел вот на качалке...

Андрей окинул новинку взглядом, спросил настороженно:

– Зачем?

– К шаткости пообыкнуть надо.

Андрей походил вокруг, потолкал ногою – качается. Уж не сам ли Афанасий удумал? Покосился на него недоверчиво. Афанасий тоже качалку разглядывал, чесал задумчиво щеку:

– Н-да... Супротив моря в два раза несподручней.

Постоял, почесался, подправил ногой качалку и ловко вспрыгнул на середину. Качалка под ним, как маятник от часов, туда-сюда. Покачался Афанасий, к наковальне примерился, слез, усмехнулся.

– Ничего, попривыкнуть можно. – И показал на нее взглядом. – Поехали.

Андрей на качалку влез – она под ним вся ходуном ходит. Афанасий ему:

– Бери молот!

А Андрей и без молота устоять не может.

– Бери молот, поехали! – командует Афанасий. – Да ноги-то присогни. Мягче держи их. Что они у тебя, ровно жерди, совсем не гнутся!

К обеду Андрей так намаялся – стоять не мог. К счастью, Афанасий спешил куда-то, работу уже закончил. Андрей портки снял, закатал исподнее, забрел в Тулому. Вода холоднющая, а ноги словно совсем сухие, не слушаются. Афанасий постоял, поглядел.

– Ноги так застудить можно, отымутся.

И ушел.

Андрей до сеновала едва добрался. Лег, вытянул ноги – тяжело лежать. Свернулся на бок, в калач, – еще хуже. Ни рукой, ни ногой от боли не шевельнуть – в спину что-то вступает. Обедать не пошел.

Смольков приполз от лестницы, принес хлеба краюху, рыбы вареной, квасу в чашке.

– Андрюха! Занемог, что ли?

Андрею не до еды и не до Смолькова. Лечь бы так, чтоб тело чуть отошло, не ныло. Однако коротко рассказал. Смольков примостился рядом, слушал, не понимал.

– Оно на что хоть похоже?

– На пасхальные качели. – Андрей злится, что телу покоя нет. – Только без девок. А то как раз бы тебе там место...

Смольков в последние дни заимел деньги, ходил как-то гулять в слободку и ночевал там. Сейчас насмешку Андрея принял смиренно. Помолчав, сказал:

– Он тебе за кабак мстит.

– Устанет...

– Ты скорее устанешь. Надорвешься – вот те и грыжа, штаны полные. Что тогда? Себя беречь надо, Андрюха.

– Завтра бы выдюжить, там пойдет...

– Зря на силу, Андрюха, надеешься. Тут не кочевряжиться – хитрить надо. Чуть устал – и проси роздыху.

Андрею представилось, как бы стал просить Афанасия. Вот бы уж тот повздыхал вволю.

– Еще чего...

– Притворись. Руку или ногу, мол, подвернул, боль нестерпимая. И жалуйся, не бойсь. Чай, язык не отвалится.

– Я и матью не учен этому.

Все тело ныло. Андрей снова зашевелился, укладываясь удобней: господи, да где оно, это место, чтоб лечь и покой сыскать!

– Болит?

– Болит...

– В баньку бы тебе да попариться. Хочешь, поговорю с Суллем, чтоб велел истопить хозяйке? Он для меня что хошь сделает.

Смольков от Сулля на шаг не отстанет. Работа у него легкая, отъелся Смольков, порозовел. Даже хихикать стал реже.

– Поговорить? – переспрашивает Смольков.

– Уймись ты! Без вас с Суллем тошно.

Смольков обиделся и уполз вниз. Андреева еда стояла нетронутой.

Всю неделю лил дождь. Ветер северный, холодный, казалось, нарочно гнал на Колу тучу за тучей, чтобы они тут опорожнились. Даже на сеновале только и спасения, что шкуры постельные. По утрам из-под них не хотелось вылезать: сухой сменки не было, а посконный зипун и онучи не просыхали.

Поднимался Андрей, унимая дрожь, и, набросив зипун на голову, бежал через лужи в кузню. Шустро растоплял горно, грелся и завтракал тем, что хозяйка клала ему в узелок с вечера. Задрав ноги к огню, сушил лапти. Как ни берег их он, сколько ни латал, поизносились. Оставалась еще одна пара, праздничная, а что потом будет – Андрей не знал. Правда, Суль обещал одеть на зиму, но когда это еще будет.

Афанасий стал приходить в кузню поздно, здоровался кивком, снимал с себя дождевик, встряхивал, его, аккуратно вешал на гвоздь. Надевая кожаный фартук, бросал на качалку короткие исподлобья взгляды и, отвернувшись, подолгу перемешивал уголь в горне.

Потом целый день Андрей мучился на качалке. Трудно она давалась. Но работа шла-таки. Былой дрожи от слабости уже не было, и тело больше не ныло, как от надрыва. Работа спокойно шла, неторопко. Суль, говорят, подался в погост лопарский шить из шкур им одежду, давно не показывался. Смольков бездельничал: ел, спал или резался с хозяином в подкидного. За обедом жаловался Андрею:

– Вволю уж ем и сплю, а мясом не обрастаю. Видать, кость у меня особая, тонкая.

Он щупал свои бока и живот, сокрушался:

– Ну хоть бы чуть приросло, а то в слободку ходить никакой приятности нету.

Крестя рот в зевке, спрашивал, не слышать ли о Сулле чего, и опять забирался на сеновал спать.

...Сулль пришел в кузню совсем неожиданно, со Смольковым. Поздоровался от ворот хмуро и стал там, как обычно, с трубкою, наблюдал. Андрей взгляд его даже ногами чувствовал. Смольков суетился за Суллем, что-то ему шептал. «Принесла нелегкая», – думал Андрей и чувствовал, как ноги под этим взглядом тяжелеют, не слушаются. Скорей бы уж слезть с нее, что ли. Но не успел подойти к мехам, как Сулль словно ожил: скинул малицу, схватил держак от метлы и подталкивает Андрея к качалке, сует ему в руки молот: – Бей! Бей! Попадай сюда! – И пристукивает держак по наковальне, водит туда-сюда. Сам ощерился, руки расставил, присогнул ноги, глаза блестят.

Андрею спешка Сулля совсем непонятна, но он становится на качалку, пружиня ногами, ловит взглядом держак на наковальне.

Дзиннь! – Сулль успевает убрать держак, и молот звонко отскакивает от наковальни, сильно прыгает в сторону. Андрей не может его сдержать и соскакивает с качалки.

– Плохо! Плохо! – кричит Сулль Афанасию. – Надо попадать палка! – Он машет ею у самого носа Андрея. – Палка! – И бежит раздраженно по кузне, и снова подталкивает Андрея к качалке: – Пошел! Пошел! Стой сюда!

Андрею шатко стоять, затея раздражает его непонятностью.

– Попадай палка! Попадай! – кричит Сулль и водит ею по наковальне, а сам впился в Андрея взглядом, готовый мгно-

венно убрать ее.

Дзиннь! – бьет молот по наковальне и летит в сторону.

Смольников смеется:

– Ты, Андрюха, как в зыбке стоишь.

– Что тут надо?! – бешено оборачивается Сулль.

Афанасий поднял кулак, цыкнул яростно:

– Пшел вон, зашибу!

Смолькова за двери словно ветром сдуло.

– Попадай! – орет Сулль.

– Ты спокойня, спокойня. Поехали, – говорит Афанасий.

Примерив глазами и выждав чуть, Андрей бьет.

Хрясь! – крошится держак в мелкие щепки. Молот не прыгнул, и Андрей снова посылает его на палку. Сулль не успел отдернуть, и она крошится с сухим неприятным звуком. Сулль лишь теперь успевает убрать ее, но и Андрей успевает сдержать молот.

Мгновение они смотрят друг на друга.

– О-о! – протягивает довольно Сулль. – Это хорошо. Хорошо!

И, отбросив смятую палку, хватает железный прут, опять щерится, не спуская с Андрея глаз, кричит:

– Еще попадай! Еще!

– Ты спокойня, спокойня, – говорит Афанасий.

Дзиннь! – мимо. Дзиннь! – мимо.

Андрей начинает входить в раж: страстно хочется одолеть Сулля, но Сулль ловок чертовски, в последний миг успевает

сдвинуть прут.

– Попадай! Попадай!

Бац! – на мгновение молот приковывает прут к наковальне.

– Попадай! – орет Суль.

Бац! – и снова прут оседает под молотом.

Может, хотел схитрить Суль, а может не успел убрать прут, но молот настиг его почти на весу, по ту сторону наковальни: вылетел прут из рук Суля. От боли Суль крутанулся волчком, пряча руку под мышкой и приседая:

– О-о-о! Дьявол!

Андрей слез с качалки понуро и виновато. Афанасии хлопает по плечу Суля, хохочет:

– Попадай, попадай! Ну-ка руку-то покажи, Суль Иваныч. Кости целы?

Суль держит руку под мышкой, разглядывает Андрея и кивает в его сторону Афанасию:

– Хорошо.

– Хорошо, – в тон ему вторит и Афанасий. – Сойдет лучше некуда.

Суль осматривает ладонь, шевелит пальцами.

– Ничего, – протяжно говорит он, набивает табаком трубку и долго прикуривает ее от горна.

Андрей и Афанасий ждут молча.

– Будем грузить шняка, – медленно говорит Суль.

– Сейчас? – изумляется Афанасии.

– Да.

– Может, завтра с утра?

– Нет, завтра будем уходить.

– Вот те раз! – удивляется Афанасии.

Суль достает из кармана ключ и сует Афанасию.

– Это амбар. Там все хорошо готово. – И тычет в Андрея и Афанасия. – Ты и ты. Надо носить на берег. Все носить! Шняка будет скоро.

Суль надел свою малицу и ушел.

– Вот те раз! – опять сказал Афанасий.

Вверх по туломскому берегу у колян длиною улицей – амбары. На клетях поднятые от земли, чтобы пакость какая не заводилась, амбары стояли добротные рубленые, с навесами. Складывали коляне в них снасти на зиму, паруса от шняк, яруса рыбные, хранили и рыбу соленую, для себя и для продажи. Здесь же держали свои амбары и вешняки мурманцы, люди пришлые, что появлялись на Мурмане в летние промыслы из Мезени, Онеги, Кеми и прочих мест побережья Белого моря и лесистой Карелии. Тут же был и амбар Суля.

Афанасий, наверное, знал его давненько. Подошел уверенно, не задумываясь. Андрей вошел следом – из амбара дух рыбный, густой. Подумалось: «Вон чего все амбары за городом».

В амбаре полутемно, но разглядеть можно: мешки, свертки из парусины, бочонки и бочки, шкуры оленьи, веревок кучи.

Афанасии кинул на берег взгляд, показал Андрею:

– Вон на те мостки носить будем.

– Они сюда приплывут?

– Чиво? – откликнулся смешком Афанасий.

– Говорю, Сульь Иваныч на шняке сюда приплывет? – Андрей старался сказать яснее.

– На шняке не плавают – ходят. Идут, значит.

Еще когда закрывали кузню и Афанасий прятал ключ в условное место, Андрей обратил внимание: как-то уж лихо больно перекрестился на дверь он: «Ну покуда прощевай, кормилица!» Закрыв кузню и словно оставил в ней же и сиплость свою, и угрюмость. Совсем другой человек. Даже разговор стал вести без превосходства, на равных будто.

– Запомнил?

– Запомнил, – сказал Андрей.

– А кротилку видел свою?

– Нет. Что это?

– Вон лежит, – нагнулся и подал Андрею деревянный молот с полпуда весом. Рукоять добротная. – Вишь, какая она, матушка-выручалочка.

– И что ей делать?

– Акул бить. Как из воды нос покажет – бей кротилкой пошибче. Тут она такой кроткой станет – что хошь с нею делай. Только поспешай знай, не мешкай.

– А дальше?

– Ну, ежели память ей отшибить ладом, дальше просто.

Ляпом ее подхватишь – и на борт. Клепики братаня ковал – видел?

Андрей кивнул.

– Брюхо вдоль распластаешь: печень в обрез, шкуру долой – солить потом будем, а остальное обратно в море, товаркам ее на корм, значит.

Андрей побросал кротилку с руки на руку, поиграл ею. Легковата, пожалуй, а так ничего себе, ладная будет.

– Она – мне, что ли?

– Тебе.

Андрей отошел чуть, примерился, как бы мог ею ударить.

– А промахнусь ежели, как нынче в кузне? Или, часом, память не отшибу?

Афанасий ему:

– Может и осерчать акула. Тот год с Суль Иванычем ходил один нашенский. Был случай, промахнулся, разинул рот.

– И что?

– Ничего особого. Без ноги теперича. Сказывали, еле ушли потом. Акулы хотели и шняку опружить, когда кровь-то учуяли. Так-то вот.

Когда Суль со Смольковым пришли на шняке, у Андрея с Афанасием было все готово. Грузили шняку споро, в согласье. Суль со всеми на равных, шутит все, улыбается. А когда закончили, спохватился:

– Нет еще новых весла. Там угол другой поставлен. И бочка нет малый.

И Смолькову кивнул: пойди, мол.

Видно было, как Смольков в дверях долго с бочонком возился. Афанасий со смехом шумел с мостков:

– Помочь, может? Тяжко тебе с непривычки-то!

– Да, да. Тяжко ему, – шутил и Сульль, и они с Афанасием смеялись без особой причины, словно веселье распирало их, словно не на акул собирались они в море, а на вёщерку, какую год ждали. Не верилось, что совсем недавно это Сульль так зверел в кузне. Глядя на них, смеющихся, Андрей вдруг почувствовал: на душе легко стало, будто долго нес груз тяжкий, а сейчас отдохнуть сел и скинул. Улыбаясь, пошел к Смолькову.

Бочонок чудной какой-то, весь в аккуратных дырках – насквозь светится. Дырки большие, аж пальцы лезут. «Для чего такой?» – удивился Андрей. Смольков на мостки оглянулся, не идет ли кто, зашептал:

– Молодец ты, Андрюха, добрый. Пришел без смеху. А иноверец, ишь ведь, тоже оскалился. Чего смешного? Может, не этот нужен. Правильно ты его саданул по рукам в кузне.

– Получилось так. Без умысла.

– Со мной-то чего хитришь? Видел я. Правильно саданул. Пусть знает: мы за себя тоже стоять умеем.

– Да ладно ты, брось, – отмахнулся Андрей. – Возьми лучше весла. – И кинул себе на плечо бочонок, пошел к мосткам.

Сульль осматривал в шняке поклажу, перебирал все рука-

ми.

– Теперь все нашел? – спрашивал Афанасий.

– Надо не забывать, все держать в память, все брать.

– Так ведь забыл уже.

Сулль обеспокоенно оглянулся.

– Забыл? Что забыл?

– Ну да, – Афанасий задрал бороду, поскреб под ней горло, кривя губами. – Обычай забыл.

Сулль засмеялся.

– Ничего не забывал. Сейчас будем накрывать шняка и ходить домой, делать обычай.

Афанасий кивнул на шняку и посоветовал:

– Ее надо в Колу ставить.

– Пусть тут, – сказал Сулль.

– Отсюда в море не ходят, Сулль Иваныч, – настаивал Афанасий.

– То одинаково.

– Не спорь, Сулль Иваныч. И отцы, и деды оттель ходили.

И мы завет рушить не станем, оттель пойдем.

– От крест? – спросил Сулль.

– От креста. Бласловясь пойдем, по обычаю.

– Сулль подумал, глядя на Афанасия.

– Хорошо, – сказал он.

...Вечером на сеновале Андрей завернулся в шкуры, лежал, вспоминал день, принесший столько неожиданностей и перемен.

Ужинали они у Сулля, с водкой. Сулль добрый, веселый и разговорчивый. И Афанасия хвалил, и Смолькова, а предпочтение все же ему, Андрею. Все клал ему на плечо руку, растягивая слова, приговаривал:

– Ты есть хороший русский душа: быстро учился, много терпелив. Если маленько сердился, – смеялся Сулль, – это ничего. Я хорошо понимаю такой люди. – И хлопал по груди Андрея, смеялся лукаво и заговорщицки. – Ты должен иметь тут. Как это по-русски?

– Везенье, – подсказал Афанасий.

– Во-во! Ты должен иметь тут везенье. И свой, и мой. Я верь в это.

Таких слов к себе Андрей сроду не слыхивал. В душе его встрепенулось и разлилось радостное, хмельное. Уж за такие слова он постарается. Коль на него так надеются – из себя вылезет, а докажет. Колотушкой рыбу бить – эка невидаль! Той кротилкой без передыху махать готов. В кузне, на молоте не просил роздыху, а в море-то, Афанасий сам говорил, легче. С ним-то как все обернулось: оба у Сулля в работниках, хотя Афанасий и вольный, и в море не раз бывал. Со всем другой Афанасий стал, не то что в кузне. Пьяный уже, все тянулся с чашкой водки к Андрею.

Когда отужинали уже порядком, Афанасий вдруг взбаламутился, стал звать к себе в гости. Сулль и Смольков поупирались немного и согласились, а Андрей к Афанасию не пошел. Перемен и так много. Да и рубаха его холщовая в кузне

совсем засалилась, другой не было. До гостей ли? Чего людей обижать таким видом? И забрался на сеновал, вспомнил разговор у Сулля, пока внизу, у лестницы не завозился Смольков.

Он взбирался ощупью и сопел громко, пьяно. Досадно, что он скоро приперся. Андрею сегодня ни разговаривать с ним, ни слушать его не хочется. И он отворачивается к стене, в угол, спит будто.

Но Смольков нашарил его в темноте и затормошил настойчиво, бесцеремонно:

– Андрюха! Андрюха! Проснись-ка, скажу что!

Он шутейно валится на Андрея и, обдавая сивушной вонью, шепчет в лицо:

– Да проснись ты, проснись!

Смольков игрив, он пробует щекотать Андрея, но только злит этим.

– Чего разыгрался-то? – Андрей недовольно пошевелился.

– Угадай, кого видел я?

Черт их знает, куда они все пошли, где были и кого видели! Андрей одно только хорошо знает: дел теперь никаких. Шняка груженная у причалов, поутру в море.

– Я ажник речи лишился, – шепчет Смольков. – Какая она баба! Эх, не там встретились!..

Тон у Смолькова такой, что Андрей невольно насторожился. А Смольков уже чувствует это, важничает:

– Новость тебе скажу – ахнешь! Помнишь, сюда везли нас?

– Ну.

– Девка была красивая, помнишь?

– Ну.

– Так вот, она...

Смольков тянет нарочно, чтобы разжечь Андреево любопытство, и, наконец, выдыхает:

– Она племянница Афанасия!

Андрея будто паром обдало банным, сухим, жарким, но что-то в словах Смолькова заставляет его сдержаться.

– Не помню, – бормочет и укладывается поудобней.

– Да как же? – горячится Смольков и опять тормозит. – Помнишь, девка красивая приходила? На лодке? С нами говорила еще, Нюшка ее зовут.

– Которая тебя за ухо таскала? – сонно спрашивает Андрей.

Смольков поперхнулся, словно водой на него плеснули.

– Да я с ней нынче знаешь как?

Андрей пошевелился нетерпеливо, отодвигая Смолькова:

– Ладно, уймись, спать я хочу.

Было слышно, как Смольков шуршал сеном, расстилая оленьи шкуры, вздыхал и сопел. Потом угомонился. Андрей подумал, что Смольков уже спит, когда неожиданно и совсем непьяно тот негромко сказал:

– А она про тебя спрашивала... да. Не усох ли, говорит,

Андрей в кузне-то?

До зуда от нетерпения захотелось повернуться к Смолькову и растолкать, расспросить, но усомнился: откуда она знает, как его звать? Врет Смольков. И остыл. Говорить о ней расхотелось. Да и мыслями чего зря баловать?! До нее, как до неба, не ближе.

Но, как бы ни гнал их прочь, мысли не уходили. В красной кацавейке встала перед ним Нюшка. Глаза большущие, синие. На пунцовых губах колдовская ее улыбка: «Эй, добрый молодец!»

Андрей рывком поворачивается на другой бок, сердито укладывается удобней. «Колдунья! – думает зло. – Ведьма! У обычной девки разве такие глаза бывают?»

...Может, спал Андрей, а может, не спал, а лишь бредил сонными мыслями наяву, только очнулся от зова, увидел: в сумерках торчит с лестницы жидкая бороденка Смолькова.

– Чего тебе? – приподнялся Андрей.

– Вставай!

На дворе еще темень.

– Куда в такую рань?

– Велено в баню идти.

Вспомнился разговор вчерашний о Нюшке. Потянулся, выбираться на холод не хочется, и разом сбросил с себя тепло.

– В баню так в баню.

Баня натоплена истово, аж дух от жары захватывает. Ан-

дрей быстро помылся. В предбаннике на лавках ворох одежды. Исполнее из холста нового. Верхнее все из парусины смоленной да из шкур оленьих, мягких на ощупь.

– Вот это мы сейчас оденемся! – Смольков суетился радостно и без разбору хватал одежду подряд, примерял.

Андрей, подчиняясь его азарту, не отставал. Исполнее сразу нашел по росту, а шкуры все разбирал, разглядывал.

– Не знаешь, куда что надеть?

– Не знаю, – смеялся Андрей.

– Эх, ты! Портки от рубахи не отличишь.

Андрею в новой одежде просторно, тепло, только непривычно. Смольков, как из бани вышли, забежал вперед, стал подбоченясь.

– Чем я не Суль теперичи?

«Мозгами», – Андрей не сказал, сдержался. Мозги у Смолькова тоже на месте были, Андрей давно это понял.

Суль сидел на крыльце, курил, а рядом – Андрей сразу и не узнал – в такой же, как у них со Смольковым, одежде сидел Афанасий.

– Смотри, Иваныч, – подал он голос, – поморы идут.

Суль придиричиво стал разглядывать их в одежде: поворачивал, щупал, похлопывал и остался будто доволен.

– Чего мешкать? – подгонял Афанасий. – Зови к столу.

За столом Суль не разговаривал. Из единственной бутылки кулаком вышиб пробку и разлил все по чашкам.

– Будем маленько выпить за наше везенье, – сказал и чок-

нулся чашкой со всеми, выпил первым.

Серьезное настроение Сулля передалось. Ели молча, долго, основательно насыщались лапшой с мясом, отварным палтусом и творожными шаньгами с чаем. А когда, насытившись, перекрестились перед образами, Афанасий сказал Суллю:

– Я первый иду.

Сулль молча кивнул.

С хозяином прощались в обнимку, с трехкратным целованием, хозяйке кланялись в пояс, благодарили. А потом шли следом за Афанасием Сулль и Смольков, Андрей замыкал шествие. Шли отчего-то не по мосткам, а по улице, по середине. Мурава на улице вся пожухла и пожелтела и лишь кое-где отливала былою зеленью. Улицы тихие, людей никого. Окна домов смотрели сонно и равнодушно.

Не доходя до крепости Афанасий повернул вправо и пошел вниз по улице, в сторону реки Колы. Смольков забежал вперед и пошел рядом с Суллем. Андрею было слышно, как он шептал:

– Туда же нам надо, Сулль Иваныч, – и обеспокоенно показывал рукой влево, в сторону крепости и причалов.

– На Коле есть крест. Там надо делать поклон, – сказал Сулль.

– Почему не в церковь?

– Я не умею это сказать. Это надо посмотреть.

Сулль положил руку на плечо Смолькова, и они шли по

траве рядом, обходя стороной лужи. Подбирая слова, Сульь говорил:

– Иметь поклон на такой крест очень важно. Это чем стоит дерево. Корни. Ты сейчас будешь посмотреть.

Подошли к кресту. Сульь, придерживая Смолькова, остановился. Афанасий прошел еще и стал у креста первым.

Крест из дуба, тесаный, толщиной в человека, высокий – Андрею рукой не достать макушки – стоит одиноко на берегу; повернулся спиной к реке и восходу, лицом к городу. На кресте вырезана надпись темная – старинная, видно. Поверхность потрескалась, покосились буквы. Смольков, вглядываясь, прочел медленно, тихо:

– «В лето 1635 июня в двенадцатый день поставлен на поклонение всем христианам».

Андрей разглядывал крест, снова подивился Смолькову.

Афанасий перекрестился, стоял торжественно, со строгим лицом иконы, молитву, наверное читал молча.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.